



# A LA RECHERCHE DU SENS PERDU<sup>1</sup>

## РОССИЙСКАЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ЭЛИТА И ПОСТСОВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ<sup>2</sup>

*В заключительных строках двухмерный, измалеванный мир Цинцинната рушится, и по упавшим декорациям «Цинциннат пошел, говорит Сирин, – среди пыли и падших вещей, и трепетавших полотен, направляясь в ту сторону; где, судя по голосам, стояли существа, подобные ему».*

Вл.Ходасевич

*«Не отпущу Тебя, пока не благословишь меня».*

Быт. 32.26.

<sup>1</sup> *Примечания см. с. 98-106*

Такая категория, как *интеллигенция*, то есть, в современном значении – группа мыслителей, или мыслящая составляющая общества, только притворяется обычным объектом социологического или политологического исследования. При всем внешнем правдоподобии ее существования в ряду таких общественных категорий, как аристократия, бюрократия (кстати, по-старинному – *аристократия* и *бюрократия*) и др., она не более, хотя и не менее, сродни им, чем какой-нибудь никогда в действительности не существовавший, но семантически возможный, «король финляндский» – Государю всея Руси, Великия и Малыя, и проч. или христианнейшему королю Франции и Наварры и т. д.

Интеллигенция не вполне от мира сего на фоне других социальных групп просто потому, что она по определению включает в себя представление о субъектности, причем не только исследователя, но и любого, казалось бы совершенно постороннего критика и даже ругателя. Она – *всеобщая* референтная группа с разным качеством референтности для разных людей. В качестве иллюстрации вообразим себе такую уж вовсе немислимую во всех отношениях социальную категорию, как, скажем, какая-нибудь «*вивенция*», то есть совокупность живущих, или жив 1ий сегмент человечества. Она также будет неотделимой от субъектности даже самого иронического комментатора, и ее практическая невозможность будет заключаться лишь в том, что к этому слову едва ли удастся придумать значимый в социальном контексте антоним, в то время,

как в случае с *интеллигенцией*, антонимов несколько, и звучат они один другого обиднее. Так что этот термин отягчен не просто субъектной, но и психологической коннотацией. Как всегда бывает с идентификациями, лестными по определению, надо или считаться уважаемым членом группы, или стоять насмерть, отрицая ее реальность, значимость, неопасность для властей. Конечно, всегда находятся и те, кому удастся отрицать все это одновременно, и такие, кто отрицает что-то одно, не отказываясь, впрочем, от титула интеллигента.

С увлечением ругающий интеллигенцию чаще всего неявно *кается*, занимая ту позицию «надразумения» («перемены ума»), которая позволяет посмотреть на себя и свой грех как бы со стороны. Понятно, что при таком взгляде появляется и тонкий соблазн отказа от признания *этого постороннего* собой. Именно с этой «внутренней» стороны и сказаны об интеллигенции самые нелицеприятные слова, имеющие прямое касательство к осуждению гордыни ума. Кстати, при взгляде со стороны «внешней» об интеллигенции редко говорят что-то особенно новое, или особенно обидное: только что «в шляпе», и что «пахать надо». Это банальная детская дразнилка: длинный – «длинный», рыжий – «рыжий», и всем, кто в данный момент не пашет, надо пахать, не исключая дразнящего, о чем он, дразнясь, и догадывается.

И если вспыхивающие время от времени дискуссии о составе этой группы или о ее недостатках всегда имеют более (или, если угодно – менее), чем теоретическое значение, то, понятно, что не только теоретическое значение имеют и споры о ее будущем и, особенно – о ее возможной смерти. Поминки, с пересказом случившегося на все лады, в известной мере приручают смерть. Ежегодные ритуальные поминки одомашнивают, насколько возможно, бессмертие. Похороны интеллигенции всегда на что-то намекают и неизменно создают впечатление *deja vu*. Сразу хочется узнать – кому и зачем это на этот раз надо. С некоторых пор, на первый взгляд неожиданно, как всегда в таких случаях, в России вновь стала обсуждаться проблема интеллигенции, причем именно в контексте ее возможной политической смерти<sup>3</sup>.

Отметим, что с самого начала действительное значение здесь имеет не столько сценарий финальных торжеств, сколько их контекст. Сама тема возникает вместе с появлением интеллигенции, как референтной группы лишь для определенной совокупности людей – тех, кто действует вне церковной культуры на основе кантовской максимы *sapere aude* («дерзай знать»). Действовать вне этой культуры, между тем, отнюдь не всегда значит – против Церкви или даже без оглядки на нее<sup>4</sup>. Речь идет лишь об автономной деятельности, в повседневной жизни подчиненной более или менее строгим поведенческим нормам самой группы. *В принципе*, так же после христианизации государства постепенно автономизировалась власть, и точно так же она вовсе не обязательно бывает антицерковной. Отказывающийся (подобно Жозефу де Местру и его нынешним российским последователям), светской интеллигенции в праве на существование должен был бы отказать в нем и светской власти, что

вполне возможно в определенной философской традиции, но сказать в данном случае «А», не сказав «Б», было бы опасной непоследовательностью, как выразился однажды король Людовик XVI.

Со временем, проходя через серию кризисов и утрачивая специфически антицерковные коннотации, та или иная референтность *интеллигенции*<sup>5</sup> становится практически всеобщей, в смысле небезразличности почти для всех, хотя и не всеми признаваемой. Этому весьма способствуют общая секуляризация повседневной жизни, рост культурной самооценки в связи с распространением всеобщего принудительного образования, а также относительное обесценивание принципа крови.

Полемика вокруг интеллигенции приобретает особенно ожесточенный характер во Франции в конце XVIII – первой трети XX веков, в Германии в течение вторых двух третей XIX и первых двух третей XIX веков, а также, конечно, в России в последние полтора столетия<sup>6</sup>. У этих споров, в целом проходящих по сценарию «вечного возвращения», есть несколько любопытных и не сразу бросающихся в глаза особенностей.

Во-первых, как правило, не определяется предмет спора, то есть точное содержание обвинения и, соответственно – линия защиты. Вопрос о таком определении обычно осложнен сильным предубеждением, облеченным в метафору: несколько болезненной склонностью считать интеллигенцию либо непременно «мозгом нации», либо – вместе с Владимиром Ильичом Лениным и многими другими – метафизической антитезой этого, по определению Владимира Ивановича Даля, «вещества, наполняющего череп человека или животного». Понятно, что обе, по-своему крайние, позиции при желании могут быть ярко и, для и без того предубежденных, убедительно иллюстрированы историческими примерами<sup>7</sup>. Отождествление с мозгом, кстати, выдает системную ошибку в логике: сказать, что интеллигенция – мыслящая *часть* общества, будет так же правильно и так же недостаточно для понимания сути дела, как и говорить, что человек мыслит такой частью своего организма, как мозг.

Во-вторых, обычно не становится предметом рефлексии фактически единая установка спорящих: принятие в качестве точки отсчета молчаливо одобряемого или яростно оспариваемого тезиса о собственно *интеллектуальном* превосходстве *интеллектуальной* элиты над обществом в целом и над его политической элитой в частности или даже в особенности. Казалось бы, простейший способ разрешения подразумеваемого спора об оправданности монополии на коллективный ум – взять и предложить сравнить средний IQ считающих себя интеллектуалами, или по тем или иным признакам отождествляющихся с таковыми, со средним коэффициентом интеллектуальности группы, референтной для их критиков: политической элиты, элиты СМИ или репрезентативной выборки, представляющей общество в целом. Однако такой ход – хотя бы только в

качестве полемической провокации – почему-то никому и никогда, насколько известно, не приходил в голову или, приходя, там и оставался. Это относится и к самим интеллектуалам, и к их прежним и новейшим зоилам, не исключая из числа прежних и национал-социалистов, весьма склонных к применению эмпирических методов при анализе органики общества. По крайней мере – в существенно большей, чем даже современная интеллектуальная пресса. Единственное более или менее разумное объяснение – поскольку этические ограничения в данном случае в основном выносятся за скобки – состоит в том, что обе стороны никогда не были внутренне уверены в удовлетворительности исхода такого эксперимента для себя, что косвенно подтверждает мифологическую и психологическую составляющие полемики. Логично предположить, что действительные причины спора в данном случае так же соотносятся с объявленными, как в ситуации дуэли, происходящей из-за разницы во вкусах, или развода по причине несходства характеров<sup>8</sup>.

Может быть именно поэтому и в социологии наиболее естественное, казалось бы, направление поисков интеллектуальной элиты часто заходит в тупик. Элита интеллектуального сообщества, как бы её ни определили – по индексу цитирования, кругу авторов наиболее престижных журналов<sup>9</sup>, или же опросив полтора-два десятка более или менее уважаемых интеллектуалов, скорее всего оказывается вполне самодостаточной статистической совокупностью, то есть, в сущности, если и элитой в чьем-то восприятии, то элитой ничьей. В лучшем случае удается выявить некоторые ценностные ориентации составляющих эту «элику» людей и систему их связей друг с другом, с общественными и властными институтами и т. д. Вопрос же о реальном влиянии тех или иных идей и их носителей на общество и на власть чаще всего остается без ответа<sup>10</sup>.

Приходится признать, что попытки выделить интеллектуальную элиту с помощью таких, на первый взгляд очевидных, признаков, как интеллигентность, ученость или авторитет в принципе едва ли более перспективны, чем, например, определение священства через святость, благочестие или полученное духовное образование, ибо, как известно, эти последние не связаны жестким образом с принадлежностью человека к иерархии или определенному сословию, таинства же совершаются независимо от личных особенностей того или иного священника.

В-третьих, «спор» носит несколько односторонний характер. Если обвинители активны и красноречивы, то защита, собственно, редко защищается. Она склонна, скорее, к встречному красноречивому обвинению обвинителей: в антиинтеллектуализме, обскурантизме, бездарности. В то же время, надо признать, и обвинение не так уж часто стремится довести дело до объявленного завершения: полного изничтожения или изоляции интеллигенции. Во многих странах отдельные интеллектуалы, научные дисциплины, направления в искусстве и школы мысли временами подвергаются поношениям, а кое-где и запрету, хотя за

все время существования проблемы, пожалуй, только в двух государствах – гитлеровской Германии и полпотовской Камбодже – под вопрос (с соответствующими политическими выводами) ставится право на существование интеллигенции, как таковой. В первой, продолжающей высоко ценить знания и искусство – внешне сознательно, в довольно ограниченном смысле (только интеллигенции, как таковой, то есть «безответственной») и на ясной идеологической основе, предполагающей запрет на распространение идей и образов, наносящих ущерб официальной культуре<sup>11</sup>. Во второй, скорее, на основе инстинкта или некоего скрытого от непосвященных «изгиба души» вождей малолетних революционеров. В России в советский период дело обстоит сложнее, возможно – в силу долгожительского режима: семьдесят три года это, все же, – два полных поколения, не то что двенадцать лет диктатуры NS или пятилетие гекатомбы les khmers rouges.

Все сказанное выше заставляет с особым вниманием отнестись к определению того, что традиционно называется в России интеллигенцией, и к ее идеальным и фактическим отношениям с властью. Хотя бы отчасти снять «заклятье» субъективизма, имманентного самому понятию интеллигенции, можно лишь принципиально отказавшись от признания интеллекта (высокой квалификации, особых моральных качеств и т. д.) группообразующим принципом. Для пользы дела речь следует вести о *ролях*, *функциях* и т. п. социологических категориях, внимательно следя за тем, чтобы они не становились псевдонимами *качеств*<sup>12</sup>.

Выше уже было сказано, что исторически (это нетрудно подтвердить эмпирическими данными) светская «интеллигенция», как референтная группа, которой соответствуют определенные – разные в разных ситуациях – социальные общности, возникает как третий, наряду с Церковью и государством, смыслообразующий центр общества, неизбежно находящийся с первыми двумя в сложных и противоречивых отношениях. При этом, всякая слишком последовательная попытка любого из центров установить *политический*, по сути, контроль над любым другим, подменив его собой в «домене» последнего, или даже установить в обществе полное собственное доминирование, приводит к политическим же потрясениям, не говоря о более тонких мутациях в интеллектуальной и духовной сферах. Обособление интеллигенции происходит в тот момент (исторический период), когда общество становится «открытым». Об «открытом» обществе мы говорим здесь скорее в том смысле, какой вкладывал в это понятие Анри Бергсон, чем в том, который придал ему впоследствии Карл Раймунд Поппер. По Бергсону, это общество, основанное на рациональном и мистическом мировосприятии, то есть противоположность общества закрытого, примитивного: «человеческого общества, едва вышедшего из лоно природы», такого, в котором господствует магизм<sup>13</sup>. Понятно, что фигуры, свойственные первому – «священник» и «святой» (Церковь), «царь» (власти) и «философ»

(интеллектуалы), в то время как второму – шаман или жрец, или царь-жрец.

Очевидно, что *открытое общество* и *общество закрытое* – веберовские идеальные типы и ценны в этом качестве, объектом же социологического анализа становятся общественные организмы, у которых обнаруживаются, если позволительно так выразиться, симптомы обоих. Так что и интеллектуальная элита существует повсеместно, где рационализм или, если угодно, дискурс воплощены в определенной влиятельной субкультуре, а не только там, где становятся основой *доминирующей*, то есть согласной с властью, культуры. При этом, можно представить себе ситуацию, когда рационализм доминирует – или просто влиятелен – скорее нормативно, чем поведенчески, и когда магическое, по сути, мировосприятие и соответствующее ему поведение подчинены ролевой системе открытого общества. Такое в принципе возможно, когда закрытое общество включено в систему открытого. Возможна и противоположная ситуация, и более сложные. Одна из них – нормативное «согласие» открытых подсистем с открытой сверхсистемой как бы через голову закрытой системы, которая в этом случае в некоторых своих элементах становится «невидимкой», продолжающим выполнять существенные регулятивные функции, в том числе – двойной трансляции с соответствующей семантической коррекцией.

Именно в идеально-типическом открытом обществе кроме политической элиты в обычном понимании, то есть внутренне более или менее организованного круга людей, постоянно и непосредственно влияющих на принятие и буквальное или символическое исполнение важнейших политических решений, существует и ее теневой alter ego – элита интеллектуальная.

В этом контексте в конечном счете первичны не какие угодно индивидуальные качества тех, кого считают принадлежащими к интеллектуальной элите, а роль этой элиты в целом. И в этом смысле между элитой интеллектуальной и, например, политической – не количественное (о каких бы параметрах ни шла речь), а качественное, в первую очередь – ролевое различие. В таком смысле понятие *интеллектуальной элиты* общества не совпадает до конца ни с понятием интеллигентной части элиты, ни с понятием элитарной части интеллигенции, с которыми ее часто, чтобы не сказать – обычно, смешивают<sup>14</sup>.

Если легитимные политические элиты в узком смысле слова уподобить, как это любят делать сами их представители, коллективному *капитану* государственного корабля, то интеллектуальные элиты обычно с большим или меньшим основанием претендуют на роль его коллективного *штурмана*. Такое функциональное распределение ролей между двумя элитами, бесспорно, является нормативным. Вне его само понятие интеллектуальной элиты, как общности, причастной политическому классу, во многом утрачивает смысл: Собственно, роль штурмана (и профессия, почтенность которой доказана историей) и есть тот аналог, который позволяет выделять в обществе нечто, получающее в паре с

политической элитой условное наименование элиты интеллектуальной. Назвался «капитаном» – ищи «штурмана». Обе профессии (роли) относятся к числу древнейших и архетипически парных, метафорически организующих социум в широком смысле слова. Если нет штурмана – нет и капитана, есть кто угодно – лодочник, гондольер, ушкуйник, моторист и т. д., и т. п. – но не капитан. Способность и штатная обязанность предвидеть события, системность мировосприятия, постоянное соотнесение политического императива с нравственным – с одной стороны, способность передать свой опыт «исполнителю» – капитану на доступном ему языке и, как оборотная сторона этого качества, *снятые с себя ответственности* за повседневные действия «капитан-исполнителя» – таковы имманентные свойства интеллектуальной элиты в паре *интеллектуальная элита / политический класс*. Кстати, такое распределение обязанностей по понятным причинам обычно не оспаривается этим последним – в отличие от тех, кто в данный момент претендует на место штурмана или критикует его (и капитана) действия со стороны.

Другое дело, что на практике всё может выглядеть, и обычно выглядит, гораздо сложнее. В плюралистическом обществе в борьбе за власть соперничают несколько функциональных элит: избираемых экипажем капитанов с развитыми, вполне сложившимися командами и со своими штурманами, которые спорят и конкурируют между собой. Капитаны бывают верующие и неверующие, у них разные отношения с корабельными священниками. То же относится и к штурманам. Случается, что корабль захватывают пираты, и нелегитимные политические элиты расправляются с капитаном, либо уничтожая штурмана и ставя на его место кого-то из своих, либо предлагая ему жизнь в обмен на сотрудничество. Штурманы в этих ситуациях ведут себя по-разному и т. д.

Так, в принципе, выглядит картина взаимодействия интеллектуальной и политической элиты сточки зрения последней. То, что к ней по тем или иным причинам иногда присоединяются некоторые интеллигенты, затуманивает картину. Дело, однако, в том, что в треугольнике *власть – Церковь – интеллигенция*, имманентном открытому обществу, это не единственный возможный угол зрения.

Вопрос о взгляде из Церкви – особый, мы не останавливаемся на нем подробно потому, что эта статья посвящена отношениям политической и интеллектуальной элит, а не в силу его маловажности в современном обществе, в том числе российском. Скажем лишь, что отношение Церкви к интеллигенции очень непростое, и зависит от того, что последняя собой представляет, что говорит и что делает. Но таково же, в принципе, отношение Церкви и к власти<sup>15</sup>. Во всяком случае, Церковь в открытом обществе имеет возможность добиваться того, чтобы ее голос был услышан всеми, имеющими уши, и вряд ли нуждается в том, чтобы от ее имени – без ее согласия – ту же интеллигенцию оценивал кто-то другой, включая политические элиты.

Наконец, существует и взгляд на «треугольник» из третьего его угла: со стороны самой интеллигенции. Именно при таком взгляде обретает рельефность одна проблема, не очень существенная, или даже вовсе не заметная, при взглядах из других двух.

Она заключается в том, что сама интеллектуальная элита неоднородна, и речь идет вовсе не только о существовании в ее составе различных школ, кружков, течений мысли и т. д. Фактически, можно говорить о существовании двух очень различных групп интеллектуальной элит: *функциональных и рефлексивных*. Первые – это и есть разные группы «штурманов». Вторых можно, продолжая «игру в кораблики», назвать *картографами*. Они не ориентированы на непосредственное практическое действие с определенным результатом, а свободно экспериментируют во всем пространстве культуры. Картографы составляют смысловые «карты» не специально для кого-то, а для кого угодно, нередко – для собственного удовольствия, служа лишь какой-то из муз. Именно про них, вслед за Л.Шестовым, действительно можно сказать, что у них свое важное дело, имеющее только один недостаток – оно личное, а не общественное<sup>16</sup>. Многое личное, однако – и не только продукты интеллектуальной деятельности – востребуется властью и рынком. Более того, власть нередко делает определенный «заказ», и не всегда то, что делалось по заказу власти, непременно было лишено интеллектуальных или художественных достоинств. Даже шекспировского «Макбета» подозревали в тенденциозности в пользу Стюартов. С другой стороны, гений становится родоначальником не только школы эпигонов, но и отрасли экономики: кто-то то ли удосуужился, то ли только грозился подсчитать, сколько душ и домохозяйств четыре столетия кормилось во всем мире тем же Шекспиром: изданиями (с соответствующим редакторским, полиграфическим и пр. сопровождением), постановками, экранизациями, прокатом экранизаций, их критикой, судебными преследованиями по поводу критики и в процессе издания, постановки и экранизации, переводами, комментариями, включая уничижительные, и т. д.

Рефлексивная элита тоже играет определенную политическую роль, но это служба не *капитанам*, а так или иначе понимаемым идеалам истины или гармонии, нередко в незаметном или, напротив, шокирующем сочетании с практицизмом (хрестоматийное «не продается вдохновенье, но можно рукопись продать»). *Политическим* – по относительно отдаленным и не обязательным последствиям – оказывается в этом случае лишь сознательное или непроизвольное согласование или интегрирование смыслов (то есть уже сформулированных концепций и выраженных образов) парадигмах «церковно-государственной симфонии», «нации», «цивилизованного человечества», «мировой гармонии» и т. д. Жанры при этом могут быть совершенно различными. Очевидно, что эта элита, интересующая нас здесь лишь в контексте отношений между интеллектуальным творчеством и политикой, органически связана с другими творческими элитами, функционально к политике

вообще не имеющими отношения – по крайней мере в том смысле, который имеет это понятие в открытом обществе.

Надо сказать, что сосуществование и взаимодействие этих двух весьма различных по функциям и этосу интеллектуальных элит порождает массу артефактов и чрезвычайно запутывает ситуацию с точки зрения исследователя. Кроме элит, рефлексивных по определению, то есть самосознанию, а не только статусу, существуют, как правило, и безработные штурманы, не способные или не желающие в данный момент работать на какую-то команду. В любом обществе связи между капитанами, штурманами и остальными членами команды могут разлаживаться, и, случается, интеллектуальные элиты, в том числе и рефлексивные, берут на себя несвойственные им функции (и не только капитана, но, развивая систему ассоциаций, подчас – и судового священника) или полностью замыкаются на себя, создавая «виртуальные миры», или же – выступают под чужими именами. Чаще же всего сознательный или почти произвольный обмен ролями происходит между штурманами и картографами. Он происходит постоянно на индивидуальной основе, но иногда – и на групповой, что нас больше всего и интересует в этой статье.

Здесь уместно сделать еще два замечания.

Во-первых, вряд ли необходимо долго распространяться о том, что все эти роли – и неотъемлемые от них статусы – в мире смыслотворчества и смыслоприменения весьма причудливо сочетаются с ролями и статусами повседневной «икономии». Достаточно сказать, что мыслитель может промышлять шлифовкой линз, быть офицером русского гусарского или кавалергардского полка, прусским государственным чиновником или профессором американского университета, причем даже не обязательно из «Плющевой лиги». Не то чтобы *социальные* роли и статусы – не всегда элитарные – не имели никакого значения; главное для нас то, что они не отменяют и не могут отменить ни самостоятельного взаимного «позиционирования», как теперь стало модно говорить на немецкий лад, в самой интеллектуальной элите, ни ее принципиально иерархического устройства. В этом отношении слухи о смерти «аристократии» культуры в демократическую эпоху несколько преувеличены<sup>17</sup>. Возможно, сравнение покажется не вполне корректным, но демократизация социума затрагивает интеллектуальную иерархию так же относительно, как и священство. Все, в основе чего дар Божий – иерархично, демократично же по определению все, создаваемое людьми. Можно, конечно, сказать, что в новые времена, в применении к интеллектуальному сообществу, принцип, условно говоря, «аристократии», по крайней мере, уступает место, условно же говоря, принципу «личного дворянства», но и это будет натяжкой. Дело в том, что интеллектуальная иерархия всегда основывалась на последнем: одаренность, в отличие от земельной собственности, передается по наследству не как правило<sup>18</sup>.

Во-вторых, системные конstellации ролей, связанных с той или иной функцией интеллектуальной элиты, имеют тенденцию обретать приземленно-социальную, а не только символично-иерархическую форму, то есть становиться тем, что мы, собственно, и воспринимаем как зримые «интеллектуальные элиты», в совокупности составляющие в пределе единую элиту такого рода. При этом такие *подвижные*, да еще и временами меняющиеся друг с другом функциями, конstellации, к тому же сами становящиеся неотъемлемой частью социума и его «икономии», включают в себя лиц, находящихся на самых разных этажах культурной иерархии, причем символический статус, тоже, в свою очередь, достаточно зыбкий, может и совершенно не соответствовать социальному статусу даже внутри самой интеллектуальной элиты, что очень запутывает исследователей – эмпириков. Возможно, именно в случае с интеллектуальной элитой потенциальный диссонанс символических статусов, внутриэлитных социальных статусов и статусов общесоциальных особенно велик. Это очень затрудняет исследование предмета. Во всяком случае, постоянно надо помнить, что когда мы говорим об интеллектуальных элитах в социальном смысле, мы имеем в виду именно конstellации ролей (выделенные выше или другие), а не символические иерархии.

В сегодняшней России мы можем наблюдать практически все виды отклонений от нормативного идеала: интеллектуальные элиты только начинают складываться после краха коммунистического государства.

В этой статье под интеллектуальной элитой понимается интеллектуальная элита общества, то есть организованная совокупность людей, способных в наибольшей степени воздействовать на него, увлекая активных людей, принадлежащих к разным слоям (и выступающих в данном случае в качестве читателей, слушателей, зрителей, «собеседников»), своими идеями, рождающимися, в частности, и в диалоге с теми же «собеседниками». При этом вопрос о содержании идей в каждый данный момент не имеет самостоятельного значения, они – не независимые переменные. Очевидно лишь, что между содержанием идей и теми, кто идеями увлекает и увлекается, существует некоторое соответствие, своего рода *Wahlverwandtschaften* (избирательное средство).

Речь идёт о соотносительности элиты с обществом в целом и, соответственно, о потенциальном воздействии на всё общество, а не на какой-то профессионально, культурно или социально обособленный его сегмент, то есть именно об интеллектуальной элите, а не об отдельных специализированных или/и локальных элитах. При этом не так важно, воспринимается ли само общество как иерархизированная структура или как бесструктурная совокупность людей (два крайних в своем роде случая), или, наконец, как внутренне дифференцированное сообщество, то

есть то, кому непосредственно адресовано «культурное послание». Главное, что в самом «послании» зашифрован некий общественный проект, значимый для общества в целом. Очевидно, что в большинстве случаев такой проект является прямо или косвенно политическим.

Нас интересуют в этой статье ответы на несколько вопросов.

Во-первых, какова, собственно, «точка отсчета» при анализе сегодняшнего положения дел, то есть, что представляла собой советская интеллектуальная элита, каковы были тенденции её развития в последние годы существования СССР, каким было соотношение официальной и неофициальной элит.

Во-вторых, в какой мере преемственна сегодняшняя интеллектуальная элита России в отношении её предшественницы: советской интеллектуальной элиты.

В-третьих, как соотносились в прошлом и как соотносятся между собой сейчас интеллектуальные и другие элиты общества, в первую очередь – политическая.

В последнем случае речь идет об оценке ситуации с учетом двух теоретически возможных и не раз высказывавшихся представлений об общих закономерностях развития посткоммунистических элит в странах Восточной Европы и, возможно, в России: гипотезы о преемственности элит (в частности за счет «конвертации» прежнего политического капитала в экономический) и предположения о происходящей их циркуляции, то есть радикальной замене одной элитой другой<sup>19</sup>.

Необходимо сразу же оговориться, что далеко не все стороны интересующей нас проблемы могут быть рассмотрены одинаково подробно. Эмпирический анализ элит в России только начинается, его методические основания еще не вполне сформировались, публикация данных опросов иногда запаздывает, при том, что социальные и политические процессы развиваются чрезвычайно быстро. С учетом всего этого любой анализ состояния интеллектуальных элит сегодня – сочетание обобщений, основанных на довольно скудных эмпирических данных и более или менее правдоподобных гипотез, требующих дальнейшей проверки.

Чтобы оценить сегодняшнее состояние дел, необходимо помнить, что семь с лишним десятилетий (уникальный для новой истории срок) в России целенаправленно культивировалась «элита», создаваемая на принципах, вопиюще несовместимых со многими общеизвестными признаками элитарности.

По составу же её ядро в основном представляло результат того, что социологи называют «негативной селекцией». Не где-нибудь, а в самом Политбюро ЦК КПСС даже в последнее двадцатилетие существования коммунистического режима, в 1965-85 гг., преобладали выходцы из деревни и из рабочей среды<sup>20</sup>. У 54% представителей партийной номенклатуры образование отца было ниже 8 классов и лишь у 20% было незаконченным высшим, высшим, или включало научную степень. Соответствующие

цифры для государственной элиты составляли 49 и 29%, для лидеров массовых «общественных» организаций – 47 и 29%<sup>21</sup>.

Официальные данные в этом, как и во многих других случаях при «советском строе», неполны и нередко обманчивы: «высшее образование» в применении к коммунистической элите нередко означало так называемое «номенклатурное образование»: марксизм-ленинизм в качестве основного предмета у одних (21% в группе высших партийных чиновников), формальное высшее образование уже после вступления в номенклатурную должность у других (примерно треть партийных руководителей различного ранга, при этом для 31% из их состава это был опять-таки марксизм-ленинизм)<sup>22</sup>. Даже у директоров советских предприятий родители были более образованны: у 38% образование отца было ниже 8 классов, у 29% оно было незаконченным высшим, высшим, или включало научную степень. Для представителей советской международной службы цифры ещё показательнее: они составляли 32 и 43%, для «культурной» элиты – 26 и 51%.

С точки зрения «генотипа», то есть идеологии и состава, она была скорее антиэлитой, чем элитой в строгом смысле этого термина. Сформированная на основе открыто декларированного безбожия, подчеркнутого неуважения к национальному укладу, а также к идеям иерархии, наследия, родовых связей, преемственности, карьеры, как таковой, большевистская номенклатура с самого начала сознательно и решительно отвергла не только основополагающие ценности предшествующей элиты, но и саму элитарность, как ценность.

В отношениях между властью и интеллигенцией в 1917 году произошло не только и не столько то, о чем предупреждали за несколько лет до этого авторы «Вех», и не вполне то, что немедленно, уже в 1918 г., констатировали авторы сборника «Из глубины» – эти, в одном лице, Казоты и Лагарпы русской революции.

С.А.Аскольдов признается уже после переворота: «Я утверждал... весьма малую вероятность революции в России. В случае же, если она произойдет, то, предостерегал я..., она разыграется в масштабах и формах, напоминающих французскую революцию, и даже, наверное, превзойдет ее по силе революционного террора. Как на основании для своего последнего предположения я указывал... на слишком сложный и взаимопротиворечивый состав русского народа в смысле его идеологии и жизненных инстинктов и, главное, на типическую размахистость его воли... Вопреки моим предположениям, русская революция все же свершилась. Но она совершается в масштабах и размерах, даже теперь во многих отношениях превосходящих по своему размаху великую французскую революцию»<sup>23</sup>.

Примерно о тех же качествах русского народа, только резче и яснее, говорит за восемь десятилетий до этого и А.С.Пушкин в своем знаменитом неотосланном письме к П.Я.Чаадаеву: «Наше современное общество столь же презренно, сколь глупо... Это отсутствие общественного мнения, это равнодушие ко всему, что есть справедливость, право

и истина..., что не является необходимостью. Это циничное презрение к мысли... и к достоинству человека<sup>24</sup>.

И еще в одном сходятся «веховцы» с Пушкиным – в вынужденном восприятии власти, как последней защитницы перед лицом стихии русского бунта. М.О. Гершензон: «Каковы мы есть, нам не только нельзя мечтать о слиянии с народом, – бояться его мы должны пуще всяких казней власти и благословлять эту власть, которая одна своими штыками и тюрьмами еще ограждает нас от ярости народной»<sup>25</sup>. А.С.Пушкин: «Правительство все-таки единственный Европеец в России (несмотря на все то, что в нем есть тяжелого, грубого, циничного). И сколь бы грубо оно ни было, только от него зависело бы стать во сто крат хуже. Никто не обратил бы на это ни малейшего внимания»<sup>26</sup>.

Пушкин, пожалуй, даже пессимистичнее «веховцев», но и он, при всем отчаянии и страхе, все же, как и они, смотрит на грядущую русскую революцию через призму французского или американского опыта. «Нынешний император – пишет он, – первый воздвиг плотину... против наводнения демократией, худшей, чем в Америке (читали ли вы Токвиля? Я весь разгорячен его книгой и совсем напуган ею)»<sup>27</sup>.

Конечно, есть и оттенки. Пушкина можно понять так, что он говорит в первую очередь о тех, кого К.Аксаков вскоре назовет «публикой». Именно тогда же, в 1836 году, автор «Капитанской дочки», писавший про «русский бунт – бессмысленный и беспощадный»,<sup>28</sup> опасается в первую очередь все же не столько самого народа, сколько тех, кто бы это ни был, «которые замышляют у нас невозможные перевороты»<sup>29</sup>. Аскольдов же главным образом боится тех, кого славянофилы противопоставят «публике» под именем «народа», при том, что провоцирующая опасность исходит для него уже от более определенной, организовавшейся силы. Проходят десятилетия, меняются контексты. В приведенном диалоге видно развитие проблемы «интеллигенция – общество – власть – народ» в течение предреволюционного столетия. Но, в применении к тому, что интересует нас, это не так и важно. Важно другое, то, что в обоих случаях, во-первых, речь идет о некоем более или менее обширном *социуме* («светская чернь», «простой народ»), противопоставляемом *субъекту*, и, во-вторых, о том, что этот *социум* бросит *субъекту* вызов, сравнимый с французской революцией или – horrible dictu! – демократическим процессом в Америке, если даже не еще более серьезный.

И практически никто не предвидит, что и это *презренное общество* и этот *страшный народ* тоже падут жертвой русской революции – вместе и с «европейской» монархией, и с «народолюбивой» интеллигенцией, и с Православной российской церковью.

А это уже совсем не то, что происходило десятилетиями ранее во Франции и в Америке, и чего так боялись, и даже с перехлестом, и величайший русский поэт, и остроумнейшие русские публицисты. Замышлявшие в России потрясения, дождались в итоге не переворота на французский лад и не торжества толпы на американский. То, что произошло,

не было и очередным беспощадным русским бунтом, «ужасной мезью невежественного и исключительно долготерпеливого народа», по выражению маркиза де Кюстина или, по прогнозу К.Маркса, невиданного в истории террора «полуазиатских крепостных».

Из недр чиновной разночинной интеллигенции появилась достаточно своеобразная в культурном отношении революционная сила<sup>30</sup>. Сегодня, *post festum*, когда есть возможность судить творящих по делам их рук, очевидно, что поколения русских разночинных радикалов отличались от европейских коллег не собственно политическим радикализмом – у их мышления и поведения был иной *культурный архетип*. Это обстоятельство не всегда бросалось в глаза современникам из-за того, что они могли пользоваться стандартным языком различных течений европейской революции. Между тем в России происходило известное в лингвистике «наложение грамматик», как, например в тайском языке, который в прошлом традиционно изучался по грамматике сакрального санскрита, имевшего р тайским языком исключительно лексические связи. Вероятно, в русской революции таких «наложений» было несколько, что очень запутывает дело. И уж во всяком случае, она «ставилась» совсем не по тому сценарию/которого больше всего боялись в России и в Европе: безответственные заговорщики – офицеры или разночинная интеллигенция – разбудят полудикий народ, который и уничтожит их самих вместе с «европейской», «татарской» или, по Бакунину, «кнуто-германской» властью.

Не интеллигенция была творцом революции, и не народ ей противостоял. Русская интеллигенция вместе с императорской властью и «обществом», и частью самого «народа» (то есть статистически значимой совокупностью людей, которых не отнесешь ни к одной из перечисленных категорий)<sup>31</sup> была субстратом и сотворцом светской культуры высокой и низкой этой светскостью своей, при всех содержательных и формальных различиях, похожей на современную светскую культуру Запада. Но только похожей, а не родственной, что, вообще говоря, лишает принципиального значения спор об ее автохтонности или заимствованности ее форм на этом Западе.

Западная светская цивилизация возникала из борьбы мыслящей и действующей нехристианской культуры с живой церковной традицией, при том, что церковь вновь и вновь «осваивала» возникающие в этой борьбе формы<sup>32</sup>. Русское Православие тоже осваивало инородные формы – особенно музыкальные и архитектурные – но они воспринимались не столько как результат продолжающегося собственно религиозного творчества или сотворчества, а либо как естественное заимствование у технически хитроумного Запада, либо как данность, освященная преданием – если речь шла о прошлом. Для русской культуры едва ли органично отношение к какой-то, скажем, эпохе в архитектуре или великому научному открытию, как к *проблеме*. Архетипический «казус Галилея» – совсем не русское явление, как и *проблематика готики*. В этом смысле русская светская культура была не соразмерной церковной

жизни, а как бы «перпендикулярной» ей, соразмерной же она была лишь *инородной* западной секулярной культуре.

Прот. Г.Флоровский связывал, как известно, настороженное отношение к интеллектуальному творчеству в русском православии с принятием поздневизантийской, точнее и определеннее – исихастской духовной традиции<sup>33</sup>. Соглашаясь с этой идеей, современный исследователь уточняет: «Исихазм» из обозначения монашеского движения священнобезмолвствующих превращается в перевернутую метафору национального мироощущения, православие становится бытовым исповедничеством, где критерием истины может быть только святость как единственно подлинная реальность. Это входит в плоть и кровь русской жизни и остается в ней, даже когда она секуляризуется, становясь совершенно светской. Для «апофатического сознания» (а чаще «апофатического бессознательного») истина не является знанием как совпадением понятия и предмета, и основной вопрос звучит как вопрос онтологический: важно не то, что ты можешь *помыслить* и *сказать*, а важно то, *кто ты есть*»<sup>34</sup>.

Вероятно, дело обстоит именно так, и в византийском «геноме» русской православной культуры нет того, что было во *плоти* самой византийской культуры: предрасположенности не только к сознательному *отторжению* от гетерогенных культурных форм или их *безразличному присвоению*, но и к их преобразующему *освоению*. Это важнейшая имманентная особенность русской культуры, без учета которой можно жестоко ошибиться как в диагнозе, так и прогнозе отдельных ее явлений.

Однако нельзя сказать, что значение этой конституирующей «концепции» остается неизменным и в каждый момент истории равным себе. Полагать, будто вся культурная история России только смена метафор исихазма – не меньшее, если не большее заблуждение.

Пожалуй, знаменитый факт: современники – Пушкин и преп. Серафим Саровский – не только не встречаются, но и едва ли слышали друг о друге, сам по себе еще ничего не объясняет и ничего не доказывает в отношении своеобразия русской светской культуры. Мало ли кто из величайших поэтов Европы не был знаком со святыми своего времени, не знал об их существовании и не был известен им. Это, кажется, никогда не становилось проблемой для западных культур. Но в том-то и дело, что проблемой для русской – стало. «Наше все» не могло не встретиться с «нашим главным», но они не встретились. Саровский чудотворец и «солнце русской поэзии» не *должны были разминуться*, но разминулись. *Пушкинский дом* высокой светской культуры воздвигается, «не ведая стыда», вне церковной ограды, причем не на античных развалинах, чьи камни нельзя было не пустить в дело, а то ли в воздухе, то ли, еще хуже, – на некультуренной *поганой земле*, в которой, в соответствии с традиционными представлениями, и вести себя следует по-особому. Здесь нельзя жить, творить и трудиться, согласовывая свои поступки с Церковью – сюда лучше вообще не холить. Церковный человек

может появиться здесь либо как проповедник, возможно – мученик, либо как паломник, вынужденный пересекать *нечистую* территорию, направляясь в Святую землю.

Нельзя сказать, что этот *дом* сознательно проектируется и последовательно строится «к храму задом, к лесу передом». С другой стороны, никак нельзя сказать и того, что он осуждается Церковью в принципе: слишком сложное явление – русская церковная жизнь после патриарха Никона и до большевиков<sup>35</sup>. Трудно сказать, этой ли болезненной сложности дело, или в неизменности исихастской установки даже после раскола, в том числе в синодальный период, или, наконец, в том, что эти болезненность и сложность находят оправдание в традиции. Как бы то ни было, в целом в этот период церковь относится к русской светской культуре равнодушно и подчас утилитарно, как и к западной – если речь не идет, разумеется, о кощунственных крайностях. Русский «Иаков» постоянно задирает своего ангела, но тот почти всякий раз молчаливо отходит в сторону.

Однако в том-то и парадокс, что крепнущей светской культуре недостаточно равнодушия, даже если оно в целом благосклонное. Она хочет быть причастной не просто творчеству, а творчеству *спасительному*. Для этого необходимо либо вынудить у Церкви благословение, заставить ее отказаться от «молчания»<sup>36</sup>, либо подменить ее собой на тех уже давно разработанных западными *les esprits forts* «теоретических» основаниях, что христианство в его исторической форме несовременно или даже ложно с самого начала, равно как и *религия вообще*.

Именно в этом контексте и появляется *страстное желание уверовать* в нового «искупителя» и «спасителя», каковым по сути объявляются «народники», сам «народ», «революционный авангард», «пролетариат» и т. д. В этом мировидении, являющемся, безусловно, хилиастической ересью, изложенной псевдонаучным языком, нет ровным счетом ничего от исихастского архетипа, будто бы выявляемого и в светской культуре. Действительная роль этого архетипа велика, но она относится, скорее, к определению условий развития, чем к его содержанию. Она, во-первых, в том, что не стимулировалось развитие в России такой светской культуры (возникшей на Западе в постоянном противоборстве и постоянных примирениях с церковью), которая препятствовала бы легкому торжеству громко гласного хилиазма в наиболее примитивной «полунаучной» форме. Во-вторых, свободное от прочих культурных форм и не освоенное Церковью пространство заполнялось властью, использовавшей подогнанную под ее инструментальные нужды идеологию элиты, отчего власть и становилась в России реальным, а не виртуальным «нашим всем». В-третьих, внутри церкви, эта роль, возможно, в том, что после революции она как бы «ушла в себя», не вступая в открытую политическую борьбу с большевизмом и пытаясь сохранить спасительную традицию русской святости.

Видя полубезразличное попустительство церкви, русская светская культура начинает ощущать вначале смутное, а затем все более явное

беспокойство в связи с собственной «безосновностью» и уязвимостью перед лицом нарождающегося хилиазма, не получившая, в отличие от западной, закалки в битвах и примирениях с властвующей и владетельной церковной культурой, она чувствует свою незащищенность перед лжеспасителями, несущими хаос. Недоверие к творчеству перерастает в «недоверие к бытию», начинающее в какой-то момент напоминать своего рода светский исихазм – примерно тогда же, когда исихазм настоящий становится предметом богословского интереса и рационального анализа.

Разумеется «недоверие к бытию» не чисто русская особенность. Когда самый, вероятно, европейский из русских поэтов. Ф.И.Тютчев, красиво пугает: *т бездна нам обнажена / С своими страхами и мглами, / И нет преград меж ей и нами – / Вот отчего нам ночь страшна!*», он всего лишь универсален и, вслед за Державиным, может позволить себе торжественность мистагага лишь из-за тогдашней молодости русской поэзии, для которой такие образы и позы еще внове. Но когда столетие спустя необычайно чуткий к темам русской культуры В.Ф.Ходасевич констатирует, что *«ни жить, ни петь почти не стоит, / В непрочной грубости живем, / Портной тачает, плотник строит, / Швы разойдутся, рухнет дом. / И лишь порой сквозь это тленье / Вдруг умиленно слышу я / В нем заключенное биенье / Совсем другого бытия»*, – то это уже что-то другое: и западной культуре не чуждое, но для русской – стержневое. Для нее ночь не страшнее дня, а день не благоднее ночи. Жизнь, и жизнь вечная, только и важна, творчество – ничтожно и требует самооправдания<sup>37</sup>. На Западе это любят называть «русским пессимизмом», хотя выражение «русский оптимизм» было бы в данном случае не хуже и не лучше. И во всяком случае, все это так же бесконечно далеко от архетипической «мировой скорби»<sup>38</sup>, как далеки друг от друга два ключевых слова двух литературных традиций, обозначающих недовольство существованием: русская «тоска» от немецкой «Sehnsucht»<sup>39</sup>. Как бы то ни было, за столетие, отделяющее одного поэта от другого, «пушкинский дом» не только «был прекращен строительством», но и разрушился. Казалось бы, уже не над головой, а непосредственно под ногами должна была «открыться бездна, звезд полна», но этого, в общем, не произошло. Исчезла не почва, а крыша, и беспочвенность обнаружилась не внешняя, а внутренняя. Теряя религиозный смысл, развиваясь скорее вширь, чем ввысь, но и обретая, кажется, некоторую почву под ногами, еще через полвека светская культура заслуживает такой самооценки: *«Земля – это тоже космос. / И жизнь на ней тоже хаос. / Тот хаос – он был и будет. / Всегда – на земле и в небе. / Ведь он не вовне – он в людях, / Хоть он им всегда враждебен... / ...В космос выносят люди / Их победивший хаос»*. (Наум Коржавин)...

Но все это случится позже, а перед революцией наиболее пронизательные жители «пушкинского дома» все еще воспринимают его стены как сомнительное, но убежище от того, что начинается сразу за порогом – хаоса. «Россия Достоевского, луна еще на четверть скрыта колокольной»...

Соответственно, и власть они призывают воспринимать как союзника, но не пользуются при этом пониманием ни с ее стороны, ни со стороны «своего брата» – интеллигента.

...Не «родства не помнящая» интеллигенция боялась *народа*, а русский образованный, то есть мирской, светский народ<sup>40</sup> трепетал хаоса, что не совсем одно и то же. «Народ» же для «веховской» интеллигенции – примерно то же, что волк в сказках: *lupus ex fabula*. Конечно, это именно волк со всеми его фабульными особенностями, детально перечисленными в «Красной шапочке», но и не просто волк. Это еще и намек на архаического волкодлака, вервольфа, пришельца из иного, «нижнего» мира<sup>41</sup>. Едва ли случайно знаменитый навязчивый кошмар Анны Карениной – символ смерти – имеет у Л. Толстого образ зловещего мужика, «работающего над железом» и произносящего бессмысленные французские слова. И уж совсем неслучаен цветаевский «Вожатый». «*Иволк и вор*» – чернобородый мужик с веселыми глазами, машущий топором вправо и влево: «лихой человек, страх-человек, тот человек». (М.Цветаева. Пушкин и Пугачев.).

«Народ» в XIX – начале XX вв. – имя табуистическое. Задабривая «народ», лстя ему, нелепо его идеализируя, светская русская культура ворожила, завораживая непроизносимый хаос. А некоторые ее самозванные носители, быстро оформившиеся в квазисословие – плоть от плоти священнического, но иного духа – воспринимали народ уже «буквально» (на самом же деле – тоже в переносном смысле, как метафору, но только не метафизического хаоса или мифологического «нижнего мира», а наименее культурной и благополучной части сельского и городского населения), составив «проблемную пару» с реальными мужиками разного достатка и образа жизни, склонными сдавать их в полицию.

Со временем часть этого «сословия», пройдя бакунинскую, кропоткинскую, марксистскую выучку стала «геном» *социального* (а не только политического) новообразования: *субкультуры*, каковой было на деле то «революционное движение» в широком смысле слова, один из отрядов которой и захватил в 1917 власть.

Здесь мы сталкиваемся еще с одной метаморфозой революционной культуры. Хилиастическое, по сути, движение, захватившее власть, не только не воспроизвело «византийский архетип» русской культуры, но не сохранило и свой собственный. «Рабоче-крестьянская» Форма и ее маргинальное наполнение с самого начала вступают в противоречие с «сотериологической» претензией *научного хилиазма*, что во многом предопределяет логику развития новой власти.

Вообще, с точки зрения отношений между властью, культурными элитами, а также всеми другими формами общественной самоорганизации, *ретроспективно* практика большевизма больше всего напоминает завоевание относительно развитого, хотя и многоукладного, государства каким-то сравнительно отсталым племенем, вожди которого, кроме религиозной одержимости, обладают рядом признаков культурности

и претендуют на умение править. На деле они доказали если не это умение, то по крайней мере, действительную способность удерживать власть с помощью, как теперь говорят, «ресурсоёмких технологий», то есть систематически отказываясь «постоять за ценой», которая и до сих пор толком не известна.

При этом за семь десятилетий своего существования режим так и не озаботился собственно политической легитимацией этого своего качества. В идеологии советских коммунистов мы не найдем ничего напоминающего забываемую формулу величия Рима в «Энеиде»: «Смогут другие создать изваянья живые из бронзы..., Римлянин! Ты научись народами править державно – В этом искусство твоё!» и т. д. (VI. 847-853).

Нас только введет в заблуждение некоторое внешнее сходство большевистского революционного правления с якобинской, а затем бонапартовской диктатурами, черпавшими поддержку одновременно в верности рационально прозрачной, принципиально обращенной ко всем, а не только к членам «секты», просветительской философии<sup>42</sup>, в обязательстве обустроить мир вокруг себя по ее законам, а также в «романтическом» представлении о незаурядной личности, сверхчеловеке, *зримо доказавшем* – будь то в бою «с морем зол» или на плебисците – свое право властвовать<sup>43</sup>. Большевистские вожди были, в общем, неяркими персонажами: яркие «трибуны» и «военные вожди», напоминающие французский прототип (или сознательно его имитирующие) были сравнительно быстро уничтожены или оттеснены на второй план, где стали вести себя «скромнее». Те же, у кого в руках была реальная власть, всегда вели себя подчеркнуто скромно, на грани публично демонстрируемой серости, и своего *личного* права на власть никогда не доказывали.

Можно согласиться с тем, что «русская литературная, художественная, музыкальная классика, вместе с «классиками народов СССР» в трактовках интеллигенции, поддерживала идеологическую легенду власти – как законной наследницы «лучших сторон» отечественного прошлого и мировой истории. Вместе с тем классика воплощала «всеобщие» и «вечные» ценности, к которым должно было приобщаться население<sup>44</sup>. Но эта искусственно отобранная «классика» не создавала собственно политического фундамента власти. Аналог же «просветительской» философии у большевиков – марксизм – также играл в контексте легитимации власти совсем иную, не «французскую», роль. Содержание текстов Маркса и даже Ленина практически не использовалось для оправдания претензий коммунистов на власть, и в этом содержании действительно не было ровным счетом ничего, что могло бы такие претензии оправдать. Как говорил Чарльз Диккенс, враг рода человеческого в облике льва рыкающего может соблазнить разве что африканского охотника. Идея диктатуры пролетариата, инстинктом чуждого, что нужно недееспособному обществу, воплощаемой коммунистической

партией, которая ведает, что нужно пролетариату, лучше, чем он сам, может соблазнить в лучшем случае саму коммунистическую элиту. Эта мантра рецитировалась в общем ритуале, но акцента на ней не делали. Вероятно, любой, кому приходилось посещать занятия по научному коммунизму, помнит, к каким ухищрениям прибегали преподаватели, чтобы избежать анализа этой «научной» формулы. Другое дело – отношение к марксизму-ленинизму как к универсальному «знанию» («ведению»), сама монополия на владение которым, обеспечиваемая не свободным творчеством и критикой, а передачей по наследству от *властителя-ведуну* (которому противопоказана роль *героя*) к воспитанному *правлящей* партией его преемнику: тоже властителю потенциальной пролетарской космократии и тоже ведуну. Ясно, что это не рациональная легитимация (или хотя бы претензия на нее, предполагающая игру по рациональным правилам, в конечном счете входящим в противоречие с иррациональным десигнатом), и не хилиастическая мистика, а магическое по своей сути действо. Его смысл с трудом, но просматривается сквозь две «грамматики», правилам которых он непосредственно или опосредованно подчиняется. Непонятное с рациональной точки зрения полное равнодушие к любому из известных «веберовских» типов легитимации собственной власти (харизматическая, традиционалистская, рационально-правовая) становится объяснимым, если исходить из гипотезы ее принципиальной внерациональности, при том, что Макс Вебер говорил об использовании, в частности, некоторых дорациональных средств в расколдованном мире. Мир большевиков таким не был, по крайней мере – в его отношениях с окружающим миром. И власть большевиков была не над обществом, а над универсальными смыслами<sup>45</sup> и только в силу этого – над обществом. Лучше всех это передал, вероятно, Джордж Орвелл.

Разумеется, подобная элита, собственно, по-своему, и ставшая жизненным коррелятом идеи «гегемонии пролетариата», не могла бы удерживаться у власти семь с лишним десятилетий, если бы её практическая деятельность не вступала в ежедневное противоречие с её же собственными основополагающими принципами. Как известно, уже через несколько месяцев после переворота 1917 года большевики начали укреплять свою власть, привлекая военных и гражданских «*спецов*». Практика «политического руководства», опирающегося на добровольные или вынужденные услуги профессионалов, находящихся под строгим контролем террористического по сути аппарата, стала универсальной, составив квинтэссенцию отношений коммунистической «элиты» с элитой интеллектуальной. Мы обнаруживаем её и в том, как управлялись так называемые «национальные» союзные и автономные территориальные единицы и находящиеся на них предприятия (партийный руководитель непременно «коренной национальности» и, «при нем» – специалист, реально ведущий дело), и в том, как в экстренных условиях проводилась мобилизация военной промышленности и науки (целые

конструкторские бюро и экспериментальные цеха по вымышленным обвинениям оказывались за колючей проволокой – в условиях лагерного, хотя и по-своему привилегированного режима) и т. д.

Хорошо понимая необходимость привлечения культурных элит себе на службу, стараясь дать образование своим детям, сами коммунисты, как властная группировка, в целом остались на удивление верны своим первоначальным установкам<sup>46</sup>. Возможно, в этом проявилась специфика действия примитивных по сути механизмов в мировую эпоху идеологий: характерное для закрытых обществ магическое мировосприятие облеклось в форму доктрины и в результате обрело несвойственную ни ему, ни ей жесткость и последовательность. Псевдоморфозы в общественной жизни вообще нередко отличаются особенными ригидностью и инертностью, поскольку выключены из логического или органического бытия и развития тех структур, которым по видимости принадлежат.

Как бы то ни было, сохранив идеологию атеистической и безродной антиэлиты, опирающейся на сверхценное, не требующее верификации и не допускающее фальсификации научное открытие («учение»), советские коммунисты обрели кое-какое практическое объяснение и оправдание природы и обычаев своей власти в принципе номенклатурности, возведенном в нравственный и чуть ли не эстетический идеал. Номенклатура в широком смысле слова – это и была антиэлита, обретшая внутренне противоречивую квазилегитимацию в бюрократической логике, лишившейся свойственного ей в принципе прикладного характера и экстраполированной не только на всю профессиональную, но и на повседневную жизнь.

Естественно, что плебейская психология номенклатуры в сочетании с претензией на элитарность, на взгляд не только извне, но даже и изнутри, не могла не отдавать лицемерием и цинизмом. Вероятно, сочетание особенностей состава и идеологии этой «элиты» в свое время и дало повод не кому иному, как лидеру нынешних российских коммунистов Г. Зюганову, несколько простодушно назвать главную «становую структуру» в ВКП(б)-КПСС, её основное течение «партией проходимцев». Он, видимо, не случайно причислил к этой своеобразной партии только лидеров и функционеров, а к тем, кого он назвал «партией патриотов» в той же КПСС – фигуры по той или иной причине широко известные и иногда в определенной сфере даже весьма влиятельные, но как раз в коммунистической номенклатуре безнадежно периферийные и декоративные: конструктора космических ракет и кораблей С.П.Королева, героя Сталинграда сержанта Павлова, известную в 60-х гг. героиню социалистического труда ткачиху Гаганову, маршала Г.К.Жукова<sup>47</sup>.

Советский правящий класс, строго говоря, в лучшем случае был – по неизбежному определению – элитой государства, с которым он себя почти полностью отождествлял, но никак не общества. В силу этого он не только не способствовал, но и, насколько мог, препятствовал появлению

любой эффективной контрэлиты, в том числе – и особенно – контрэлиты интеллектуальной. Это естественно, поскольку ее появление было бы равносильно не только возникновению контргосударства (притом, в отличие от «основного» – вырастающего из общества и опирающегося на него), но и оскорблению номенклатурной элиты слов по антонимическому принципу.

Многие сегодняшние и, вероятно, некоторые завтрашние особенности российской внутренней и внешней политики предопределены отсутствием концептуальных подходов к обществу, которые просто могли выработаться при жестком магико-доктринальном контроле над интеллектуальной деятельностью. Признавая, что в последние десятилетия коммунистического режима этот контроль ослаб, следует иметь виду, что речь могла идти лишь об изменении интенсивности и форм контроля, но не о его сути.

В самом деле, выход из коммунизма отнюдь не был симметричным входу в него. Поэт и литературный критик Георгий Иванов так вспоминал о начале собственно тоталитарного периода большевизма, который режим вступил через пять лет после октябрьского переворота 1917 года: «...1922 год был «поворотным». Весной 1922 года литературная жизнь Петербурга ещё текла так, как она сложилась за пять лет революции. Действовали Дома – литераторов и искусств, действовали издательства, настолько ещё независимые, что не боялись, например, издавать сейчас же после казни Гумилёва его книги, и, например, я, эти книги редактируя, не считал особой смелостью со своей стороны в вступительных статьях давать соответствующую оценку не только стихов, но и личности расстрелянного «белогвардейца». Разумеется, книг издавалось мало, разумеется, цензура давала себя знать, – но это воспринималось как стеснение, неудобство такого же «физического» свойства, как отсутствие хлеба, дров. Над душой писателя власть ещё не имела прав. Может быть, оттого, что тогда никому ещё в голову не приходила мысль о возможности быть изданным Государственным издательством, т. е. прикрепиться. Потому тоже, что Государственному издательству не пришла в голову мысль писателей закрепить – ибо «слаб человек». Как бы то ни было, до 1922 г., когда всё как-то сразу увяло – и «дошло», а надежда на свободную газету и наша жалкая независимость, когда одних выслали, а другие принялись хлопотать об отъезде сами, – в Петербурге возможна была та своеобразная литературная духовная жизнь, о которой вспоминаешь теперь с волнением и грустью, от которой осталось ощущение – нет не гнёта, – напротив, какой-то «астральной» свободы. Но осенью 1922 г. явно пришел конец всему этому»<sup>48</sup>.

Два «философских парохода», увезших из России цвет интеллигенции, обозначили веху в истории отечественной интеллектуальной элиты. Массовой высылкой гуманитариев за границу и репрессиями, в том числе кровавыми, 1920-х гг. и кончается *собственно антиинтеллигентская* политика большевиков, так и не ставшая, в отличие от нацистской

Германии, в другом смысле – Камбоджи «красных кхмеров» и, возможно, маоистского Китая, одной из идеологических основ режима. Дальнейшие репрессии, жертвами которой становились не только интеллектуалы, но и отечественная культура, – это уже другая история со своим сюжетом. Как бы то ни было, «погружение во тьму», как назвал наступление большевистского тоталитаризма другой писатель, Олег Васильевич Волков, русская интеллигенция совершила в полном сознании и более или менее здравом рассудке. Внутренне организованная и вполне автономная от коммунистических властей, интеллектуальная жизнь некоторое время продолжалась даже в Советской России и, конечно, в русском зарубежье, сохранившем культурную традицию несмотря на крайнюю раздробленность, провокации НКВД и прочие трудности.

«Выход» из коммунизма оказался совсем другим... «Интеллектуальная элита СССР» (начало тоталитаризма<sup>49</sup> в России хронологически совпало с образованием Союза Советских Социалистических Республик, а его конец – с распадом СССР) была совсем не приспособлена для разработки независимой политической идеологии, хотя в целом ее роль в политической истории страны оказалась достаточно противоречивой.

Советская «культурная элита» – часть коммунистической партийной номенклатуры и в этом качестве она представляла или, по крайней мере, должна была представлять собой нечто искусственное, запрограммированное: своего рода *homunculus* с заданными характеристиками и предсказуемыми результатами деятельности. «Сверхминистерство» науки – Академия наук СССР – насчитывала в 1989 г. 909 академиков и член-корреспондентов. При этом в её составе было почти 300 институтов, в которых работало 62 тысячи ученых, а общая численность сотрудников составляла 200 тысяч человек. В составе АН СССР действовало около 200 ученых советов, сотни библиотек, а академическое издательство «Наука» ежегодно выпускало 3000 книг и 185 журналов. Кроме того, существовало 14 республиканских академий (во всех «советских социалистических республиках», кроме РСФСР), где в стенах 400 институтов работало еще 56 тысяч исследователей. Действовали также 4 «отраслевых» академии (Всесоюзная академия сельскохозяйственных наук имени Ленина с 21 тысячей сотрудников, академии медицинских и педагогических наук и Академия художеств). В разных отраслях народного хозяйства насчитывались также тысячи специализированных исследовательских институтов: в одной промышленности в 1989 году – 1600. В высших учебных заведениях трудилось примерно 500 тысяч преподавателей и исследователей только на полной ставке. Членами Союза научных и инженерных обществ СССР состояло в 1988 году около 12 миллионов человек. Всего в 1988 году было опубликовано 19 000 книг и брошюр только в области естественных наук и математики. Выходили с разной периодичностью и разными тиражами около 200 научных журналов. Эта громоздкая система советской науки складывалась постепенно, в основном во второй половине 1930-х – первой половине 1960-х гг.,

и достигла максимального развития накануне распада СССР и собственного краха.

Легко представить себе, что находясь на вершине такой впечатляюще огромной пирамиды – не беремся в этой статье оценивать ее весьма неоднозначную деятельность по существу – «научная элита» СССР (академики и, отчасти, член-корреспонденты союзной, республиканских, и отраслевых академий, директора, иногда – заместители директоров крупных институтов и ректоры крупнейших высших учебных заведений, редакторы наиболее престижных научных журналов: всего 2-3 тысячи человек) была действительно элитой, по крайней мере в узкосоциальном, бытовом, то есть номенклатурном смысле, и обладала всеми внешними признаками таковой. По образу жизни и, нередко, системе социальных, в том числе карьерных и потребительских, ценностей генералы от науки мало чем отличались от высшего армейского генералитета и прочих государственных людей: членов Центрального комитета Коммунистической партии, министров, наконец – так называемых деятелей культуры.

Эти последние с начала 30-х гг. также оказались включенными в централизованную и иерархическую Систему «творческих союзов»: художников, писателей, архитекторов, композиторов, журналистов, театральных деятелей, кинематографистов, руководители которых, естественно, тоже входили в номенклатуру, при том, что некоторые, подобно крупнейшим «организаторам науки», вводились и в состав высших органов коммунистической партии. Своеобразным социальным ядром «советской художественной интеллигенции», организованной элитой внутри элиты, в принципе более или менее дисперсной, всегда были те, кто определял содержание средств массовой (в том числе и «культурной») информации: редакторы и члены редакционных коллегий «центральных» газет и журналов, их постоянные авторы и «культурные герои», включая в число последних наиболее часто репродуцируемых художников, скульпторов, архитекторов, чьи сооружения воспроизводились в печати и на экране кино и ТВ, а также режиссеры «академических» театров, «народные» и «заслуженные» артисты и т. д.

Официально признанной или дозволенной собственно *интеллектуальной элитой* внутри подобной *культурной элиты* советского режима можно было, вероятно, считать тех, чьи имена ассоциировались с так называемыми «толстыми» или «серьезными» литературными, литературоведческими и искусствоведческими журналами и с академическими гуманитарными журналами более или менее широкого профиля<sup>50</sup>.

Карьера представителей «научной и художественной интеллигенции» была более или менее предопределена: сравнительно мягкий отбор на вне номенклатурной стадии и довольно жесткая селекция на предноменклатурном этапе. Известно, что уже защита докторской диссертации и занятие даже низшей административной должности в науке, как правило, предполагали членство в КПСС, а дальнейшее продвижение

– и собственно партийную карьеру в партийных комитетах научных учреждений. Связь партийной карьеры с творческой в области искусств, бесспорно, была менее обязательной, но партийный контроль за содержанием творчества и образом жизни писателей и художников был, пожалуй, даже более жестким и произвольным, чем в науке.

Вмешательство коммунистической «элиты» в творческий процесс вообще со временем стало довольно ловко применяться к природе творчества в той или иной сфере: можно было подумать, что поколения работников идеологического отдела ЦК КПСС воспитывались не на статье «Партийная организация и партийная литература» В.И.Ленина, а на «Лаокооне» Г.-Э.Лессинга. Если в науке сутью и методом партийного руководства, как правило, был систематический и лишенный вдохновения интеллектуальный и моральный диктат, то в искусстве – чаще символический, но иногда и физический террор: выборочный, нередко прихотливый и, как и надлежит быть террору, почти всегда направленный не столько на искоренение какого-то определенного явления, сколько на то, чтобы поддерживать в определенной среде чувства общей неуверенности и страха.

Вообще, начиная примерно с середины 1930-х гг., смысл репрессий против интеллигенции в СССР радикально меняется, и это соответствует общей трансформации большевистского режима. Если в 1918 — начале 1930-х гг. большевики ведут *гражданскую войну* на истребление с теми сословиями и классами общества, которые не вписываются в их проект нового общества, даже если они и не сопротивляются (уничтожение священства, дворянства, казачества, купечества, интеллигенции, как своего рода «касты», затем – крестьянства и «старого мастерового класса», но *не рядового чиновничества!*), то в следующий период они уже правят *закрытым* обществом по законам *мирного времени*. Стержнем режима становится партийно-государственная номенклатура: от «секретаря секретарей» – генерального секретаря ВКП(б) – до последнего председателя колхоза, директора МТС, начальника ЗАГС или секретаря местной писательской организации. Именно этой номенклатуре, вне которой не остается ни одного фрагмента общества, и не доверяет руководство страны, ее оно и боится, вполне резонно полагая, что после победы в войне с гражданским обществом она – единственный потенциальный противник внутри страны. И единственный способ держать номенклатуру под контролем – массовый, внешне иррациональный, террор: «программа», говоря компьютерным языком, террора рационального будет ею неизбежно «взломана» и «стерта». Вероятно, вместе с программистами. Террор 1930-40-х гг. не имеет антиинтеллигентского характера: интеллигенты, как и другие, становятся жертвами функционального антиноменклатурного террора. Лишь в начале 1950-х гг. террор вновь начинает напоминать гражданскую войну: речь идет о репрессиях против «безродных космополитов. Но и это не антиинтеллигентский террор вообще, а специализированное искоренение еврейской интеллигенции, как эпизод «холодной войны» с внешним

миром. На этот раз нетерпимыми в закрытом обществе стали все те, кто хотя бы теоретически мог ориентироваться вовне, то есть обладал потенциальной политической альтернативой. По тем же причинам, в сущности, с особым рвением преследовали «сектантов» – представителей протестантских деноминаций. Не исключено, что следующей мишенью могли стать те, кого обвинили бы в явном исповедании католичества или тайном сочувствии Ватикану.

Особый вопрос – на каком географическом и в каком культурном пространстве конституировалась интеллектуальная элита СССР – мировой сверхдержавы, идеология которой претендовала на абсолютное духовное превосходство *«Im Luftreich des Traums»*: в царстве мечты, как выражался любимый поэт Карла Маркса – Генрих Гейне.

Советский Союз был не вполне обычным государством, до самого конца оставаясь в некоторых отношениях прямым наследником Коммунистического Интернационала – экстерриториального государства-партии, в разной степени контролирующего разные страны. У него было «ядро» – собственно СССР (включая «домен» – РСФСР, где отсутствовали или были редуцированы к минимуму некоторые собственные государственные и партийные органы управления), «ближняя периферия», то есть «страны социализма», периферия «дальняя» – «страны социалистической ориентации» и, наконец, сеть «братских» коммунистических и прочих партий и других организаций в странах «внешнего» мира.

*Pax Sovietica*, то есть зона, простиравшаяся накануне распада СССР от Гаваны и Манагуа до Ханоя и Вьентьяна, и от Шпицбергена и Чукотки до Луанды и Хайберского прохода, не говоря об «экстерриториальных протуберанцах» – коммунистических партиях вне коммунистического мира – находилась под политическим или/и культурным влиянием «советского марксизма» или «марксизма-ленинизма» – официальной идеологии и философии, этики и эстетики: большого стиля советской культуры. И этот же стиль, как, впрочем, и его более или менее резко критикуемые в СССР разновидности, долгое время пользовался влиянием среди парижских *lettres*, преподавателей и студентов во Франкфурте и Беркли, Болонье и Загребе...

Квазиерархическая, консервативная советская «культурная элита» жила и развивалась совсем по другим принципам, чем выстраивающие себя по законам рационального мифа интеллектуальные элиты Запада. Несмотря на это, в известном смысле она действительно была мировой, такой же потенциально глобальной и самодостаточной, как весь коммунистический «второй мир», а до него – православный «Третий Рим»: возможная историческая матрица позднего негативного отпечатка. Более того, в Кабуле и Луанде, Гаване и Адене советские носители «большого стиля» (советники местных «марксистских» правительств, преподаватели разных марксистских и прочих дисциплин и др., но также и архитекторы, инженеры, художники, писатели) нередко искренне считали, и в некотором отношении имели основания считать

себя культуртрегерами – комиссарами или миссионерами не только советской, но и мировой политической культуры.

При этом в системе категорий рационального мифа, лежащего в основе современной западной интеллектуальной культуры<sup>51</sup> советская гуманитарная интеллигенция оставалась провинциальной. За пределами Pax Sovietica, да все в большей степени и в его пределах, она не только не диктовала «современную» моду, но в целом была изолирована от ее основных законодателей в области социологии, политологии, истории, отчасти – экономики, а также других дисциплин, без чего современная интеллектуальная элита – не элита и, в целом, была такой же принципиально неконвертируемой, как советская «национальная валюта». Причем провинциальность не уменьшалась, а возрастала с годами, несмотря на снятие запрета с ранее табуированных дисциплин, частичный выход советской интеллигенции на мировую арену и на всё большую условность ограничений на получение информации, налагаемых так называемыми «спецхранами» крупнейших библиотек.

Такова, в самых общих чертах, система организации, сфера деятельности и схема соотношения советских культурной и интеллектуальной элит. Парадоксальность ситуации состоит в том, что на протяжении большей части советского периода истории России эта система не исчерпывает собой полноты картины культурной и интеллектуальной жизни страны, причем чем более усложненным и всеохватывающим становится механизм регулирования культуры, тем менее эффективным в известном смысле он оказывается. Утрачивая простоту и безошибочность инстинктивных терроризирующих реакций, коммунистический режим вступает в стадию распада.

Его разложение продолжается очень долго – начиная со смерти Сталина в 1953 году и до 1991 года: дольше, чем даже собственно период «зрелого тоталитаризма» (1922-1953 гг.). И в эти же годы появляется и существует весьма специфическое социокультурное образование, которое можно условно назвать «несоветской интеллигенцией». Можно сказать, что у неё, как у человека, есть даты рождения и смерти: 5.III.1953 – 22.VIII.1991. Родившись в годы так называемой первой оттепели (1953-56 гг.), на тридцать девятом году жизни она трагикомически кончает с собой у стен «Белого дома» в дни августовского путча 1991 г.

«Несоветская интеллигенция» вовсе не обязательно – антисоветски настроенная. Было бы совершенным заблуждением отождествлять этот мощный слой пишущего и читающего общества с небольшими группками диссидентов, в основном вышедших из его же среды. Значительная часть «несоветской интеллигенции» формально являлась органической частью интеллигенции советской – и ничем другим быть и не могла: не хотела или не имела возможности, и в этом отношении не являлась даже потенциальной контрэлитой, не говоря уже о политической оппозиции. Более того, она приводила в движение всю советскую «машину культуры», и сегодня едва ли кому-то удастся как доказать, так

и опровергнуть гипотезу о том, что именно без её повседневной работы эта «машина» просто не могла бы существовать. Сказанное не следует воспринимать ни в осудительном, ни в хвалебном смысле: вопрос о том – является ли честно работающий заключенный концентрационного лагеря сотрудником и, тем более, соучастником своего охранника, вряд ли может быть решен в общем виде.

Несоветская интеллигенция появляется, давая свои трактовки советской «классики». Проще всего было бы объяснить появление «несоветской интеллигенции» развитием советской культурной элиты, несовместимостью природы любого современного, хотя бы по форме, гуманитарного творчества с жестким идеологическим манипулированием. Возможно, однако, что это обстоятельство само по себе было лишь необходимым, но еще не достаточным. Создается впечатление, что по мере развития военно-промышленно-научного комплекса у номенклатуры появляется ранее не существовавшая потребность в объяснении и оправдании принимаемых ею конкретных управленческих решений не только на ранее признанных языках доктрины, самой номенклатуры или воображаемого прогрессивного мирового сообщества, но и на специфическом языке интеллигенции, как ее видела номенклатура. Если это так, то создание в 1960—80-х гг. всевозможных научных и художественных советов, комиссий, разрешение создавать добровольные общества (охраны природы, памятников) выглядело как один из способов защиты номенклатурной логики принятия решений от прямой и разрушительной критики извне. Ученые, архитекторы и т. д., естественно, увлекались полемикой друг с другом, «вынуждая» номенклатуру с полным основанием брать принятие решений на себя, поскольку «ученые спорят»... Этот механизм самозащиты, приведенный в действие, возможно, подсознательно, в годы «перестройки» использовался уже вполне рационально, хотя и без особого толку.

Похоже, что в период «оттепели» фигура политически наивного, непрактичного, недисциплинированного, не умеющего договориться даже со своими коллегами интеллигента начала устраивать коммунистическую номенклатуру не только в литературе и кино, как при Сталине, но и в реальной жизни. Навязанный властью довольно унижительный, негативный по сути стереотип, игравший роль своего рода бубнового туза на спине, отчасти превращается в образ жизни – скрыто поощряемую и не слишком жестко определяемую социальную роль. «Интеллигента» такого запрограммированного склада часто открыто журят, в действительности ему потакая и закрывая глаза на не слишком серьезные прегрешения (анекдотическое сталинское, ставшее популярным как раз после его смерти: «Других писателей у меня нет...»).

Как бы то ни было, сконцентрированные и полуизолированные в своих институтах и городках «физики» зримо или незримо встают между номенклатурой и «расконвоированными лириками-гуманитариями. В годы *оттепели*, *застоя* и в первый период *перестройки* в стране складывается ситуация, которая впервые за многие десятилетия (а в подобных

масштабах, учитывая специфические условия – может быть и вообще впервые в истории), позволяет целому слою лиц умственного труда и творческих профессий существовать не только относительно безбедно, но и сравнительно беззаботно: скорее даже второе, чем первое.

В послесталинский период советская интеллигенция существенно разрастается, соотношение между ее массовой частью и советской культурной элитой меняется в пользу первой. Интеллигенция в массе теряет в элитарности – в советском смысле – выигрывая в защищенности: в том же, конечно, смысле. Благодаря полупризнанию за ней полуоппозиционного статуса, скромным, но зато стабильным доходам интеллектуальной элиты и запрограммированному высокому престижу знаний в обществе, эти годы становятся для многих интеллигентов «золотым веком». Перефразируя и даже усиливая один из «веховских» тезисов, А.Генис писал в 1992 году, что миллионы чудаков, украшавших советский режим – авторы самиздатовских журналов, режиссеры авангардных театров, художники – нонконформисты, изобретатели, лекари, поэты, странники, собиратели икон, переводчики с хеттского, «смогли появиться на свет только потому, что власть укрывала их от сурового мира». Она их не любила, а порой и преследовала, и это придавало их существованию особый «метафизический» смысл<sup>52</sup>.

Приведенная выше фраза М.Гершензона о том, что только штыки и тюрьмы императорской власти защищали русскую интеллигенцию от народного гнева<sup>53</sup>, могла казаться в конце 1900-х гг. острым парадоксом.

Та же, по сути, мысль, но повторенная в применении к несоветской интеллигенции и советской власти, выглядит уже вполне гротескно. Тем не менее, она отражает одну из реальных сторон бытия интеллектуальной элиты последних десятилетий СССР. Не случайно, наверное, одним из «знаковых» для интеллигенции 1970-80-х гг. стал роман Александра Солженицына «В круге первом», герои которого историсофствуют не где-нибудь, а в так называемой *шарашке*: в данном случае работающей на то же МГБ лаборатории за колючей проволокой, то есть в концлагере, где для заключенных существуют некоторые привилегии и послабления.

Немалая часть интеллигенции в СССР, в том числе, что особенно важно для нас, и интеллектуальной элиты, ведет не то чтобы двойную – двуединую жизнь. Защищая или не защищая диссертации, участвуя или не участвуя в официальных семинарах, выставках, концертах, альманахах и т. д., быстрее или медленнее продвигаясь по ступенькам карьерной лестницы, очень многие интеллигенты в то же время живут и в каком-то ином нравственном и интеллектуальном измерении. Рутинная трудовая будней (начинавшихся у многих далеко за полдень и не ежедневно) и карнавал соединяются в причудливом бытии на грани мифа и идеологии. Идеальный *modus vivendi* несоветской интеллигенции, и он же ее *modus operandi*, – своеобразное бытие-говорение в своей органически

развивающейся неформальной среде: «философия одного переулка», если воспользоваться названием книги А. Пяти горского. Формулой такого существования могла бы стать максима М.Мамардашвили – запись в его дневнике: «Философией нельзя изъясняться, ею можно только жить... Как стихи kein Sentiment, так философский текст – kein Gedanke»<sup>54</sup>.

Перефразируя, сегодня можно, пожалуй, сказать, что философией не удавалось изъясняться, поэтому ею оставалось только жить. Соответственно, к моменту крушения коммунизма интеллигенция смогла предложить обществу не столько язык философии (в том числе философии политики, экономики, права и т. д.), предполагающий высокую степень институционализации и легитимизации обществом в целом и основными элитами, сколько групповой аргументации, соответствовавший ее экзистенциальному опыту. Для общества этого оказалось не то слишком много, не то слишком мало, но, во всяком случае, «избирательного сродства» между ним и интеллектуальной элитой не возникло.

Советская интеллигенция, с ее продолжением и alter ego, интеллигенцией нессоветской, была в своем роде уникальным явлением и чем ближе к концу режима – тем более близким к абсурду. Провинциализация, характерная для первой, коснулась и второй, включая интеллектуальную элиту. Это явление – оборотная сторона той относительной свободы в принципиально закрытом обществе, которой она пользовалась в 1960-80 гг.

По сегодняшней – вполне справедливой, на наш взгляд – оценке социологов Л.Гудкова и Б.Дубина, «то, что собирало интеллигентский бомонд, было принципиально лишено малейших признаков дискуссионности, субъективности перспектив... Симптоматично, что ни один из кружков (и филологических – тартусцы, и других, например, методологических, как кружок Щедровицкого) не дошел до уровня школы. Они распались, поскольку никаких формализованных механизмов репродукции (знания, методов, фактажа, теории) не возникало. Более того, их возникновение никогда не было целью специальной работы, а чисто групповые симпатии или кружковые привязанности никогда не строились на рациональном дискурсе»<sup>55</sup>. Неизбежная сегодня ирония по поводу методологической стерильности советской интеллигенции уместна, разумеется, только отчасти. Постарев и смягчившись, коммунистический режим ни в малой степени не утратил своей тоталитарной природы. Его представители допускали, симулировали и иногда даже едва ли не провоцировали вольномыслие, но лишь до определенного предела, чаще всего воспринимая терпимость как одно из правил игры, которые могут изменяться в одностороннем порядке. «Герой» многих советских произведений периода политической оттепели, особенно в комическом жанре – своеобразный нравственный и политический трагист обаятельно-беззаконный – который в финале «на самом деле» оказывается «серьезным», то есть *правильно/мыслящим* человеком. Нессоветской интеллигенции не

доставало не информации и не свобод на бытовом уровне – и тем, и другим она в годы упадка СССР с грехом пополам пользовалась. У нее не было возможности устанавливать такие воспроизводящиеся, неслучайные отношения в своей среде, а также с властью и общественными группами, которые основывались бы на «проектах», автономных в отношении идеологии этой власти.

Иными словами, группе, внешне иногда очень напоминавшей интеллигентные элиты в обществах, где существование таких элит легитимировано, было решительно отказано в праве действовать по правилам таковых. Штурманов время от времени чествовали и часто смотрели сквозь пальцы на их проделки, но путь на капитанский мостик им был заказан и к настоящим, пусть учебным, лодкам их не подпускали: может быть потому, что идеологически запрограммированная команда и сама их не имела, не хотела иметь, или даже не подозревала об их смысле, обходясь до времени лодками правдиво-социалистическими. Как команда охотников на Снарка у Льюиса Кэрролла: *«На обыденных картах – слова, острова / Все сплелось, перепуталось – жуть! / Л на нашей, как в море, одна синева, / Вот так карта – приятно взглянуть!»* (Пер. Г.Кружкова). Действительно функциональная интеллигентная элита была слишком функциональной, скорее обслуживая самозванных «капитанов» с их идеологическими предрассудками, чем работая на миссию. Другая же часть была, по сути, *нефункциональной*, не являясь в то же время никакой иной. Ничего подобного влиятельной рефлексивной элите в таких условиях в стране просто не могло сложиться, а интеллигентное наследие эмиграции не только тогда, но и по сей день остается для «внутренней» интеллигентной элиты вещью в себе.

Формировать себя и свои отношения с внешним по отношению к себе миром советская интеллигенция могла по правилам либо диссидентского подполья (подавляющее большинство «подпольных» групп было, вероятно, известно КГБ, в 1960-80 гг., очевидно, не всегда спешившему немедленно «пресечь их подрывную деятельность»), либо карнавално-театральной игры. Упражняясь в своеобразной «игре в бисер», советская интеллигенция не только сочинила миф о себе, что, в общем, естественно, но и успела пожить по его законам, а это удается не всякой культурной общности и не всегда. В этом творимом мифе соединялся опыт лагерей (в эти годы уже очень редко собственный, гораздо чаще – фольклорный), стилизованная «романтика» гражданской войны при подчеркнуто эстетическом, а не политическом её восприятии, туристских походов в «дикарском» стиле, сознательного маргинального, внестатусного существования («дворники», «сторожа», «сплавщики» и пр. в 60-70-е гг.), эзотерики, религиозного опыта, энвайроменталистских, археологических, реставраторских увлечений, практики любительских и полуподпольных кружков, семинаров, «спецхранов», фольклора, неистребимого марксистского образования, ставшего частью этого фольклора и т. д.

Несоветская интеллигенция была сообществом, претендовавшим на роли сразу и рефлексивной, и функциональной элиты, и не располагавшим для этого достаточными средствами. Единственное, что действительно мог представитель этого сообщества – доиграть свою роль до «полной гибели всерьез», по характерному выражению Бориса Пастернака, что довольно многие так или иначе и делали.

Социологи, исследовавшие интеллигенцию 1956-1991 гг., выделили несколько периферийных и центральных ролевых позиций в сообществе, которое мы называли несоветской интеллигенцией. Более «официальный «край» привычного ролевого репертуара интеллигенции представляли близкие по функции типовые фигуры. Например, либеральный начальник, прогрессивный редактор, пробивающийся-таки, несмотря на все препоны, трудную книгу, либо, наконец, приемлемый для «верхов», но и подходящий для «дела» именитый, а то и награжденный автор предисловия к полузапретному до недавнего времени философу, социологу, историку, писателю – дореволюционному (но не классику), предреволюционному (но не «прогрессивному»), западному (но не прокоммунистическому) и т. д.»<sup>56</sup>

Легко заметить, что все эти роли, выделенные по законам функционирования и в терминах несоветской интеллигенции, соответствуют позициям, близким к вершине официальной советской «культурной элиты», а некоторые, безусловно, предполагают принадлежность их исполнителей к советской же функциональной «интеллектуальной элите». При этом искренне почитаемыми у «несоветских интеллигентов» были «другие фигуры – Учитель, Свидетель, Мэтр, Объясняющий, Знатоک (искусствовед). Были и фигуры второго ряда: литературный критик, острый журналист, непубликуемый писатель, всезнающий библиограф («ходячая энциклопедия»), знаток редкого и малоизвестного, член кружка, в конце концов – «старший научный сотрудник». Речь идёт именно о центрах интеллигентской культуры, её держателях, несущих конструкции всей культурной системы; более широкие круги, включая тех, кого Солженицын позже назвал «образованщиной», частично подхватывали, усваивали, даже подражали каким-то её элементам, цивилизовались с их помощью...»<sup>57</sup>

Легко узнаваемые каждым, не пожелавшим или не сумевшим забыть реалии 1960—80-х гг., «фигуры первого ряда» бесспорно принадлежат к несоветской интеллектуальной элите. Но довольно многие из тех, кто играл роли *учителей, жрецов, эзотериков, архивариусов* и т. д., относились и к официальной интеллектуальной элите, систематически печатаясь в престижных «толстых» и академических журналах, входя в редакционные коллегии, влиятельные научные советы и будучи, при этом, обладателями солидных научных степеней.

Как бы то ни было, если рассматривать ситуацию в контексте отношений между интеллигенцией и властью, ни внешне все более космократическая советская интеллектуальная элита, ни её реально все более провинциальная и дилетантская несоветская alter ego в действительности

не были функциональными, в отличие, в каком-то смысле, от советской «культурной элиты», составлявшей органическую часть номенклатуры. Эта же последняя значила что-то только в логике номенклатурного режима. Разложился он, кончились его чары – и она ощутила свое политическое бессилие. Ни одна из элит, имеющих отношение к культуре, в период «перестройки» не сумела предложить сколько-нибудь реалистического политического проекта.

Всё, на что оказалась способна советская интеллектуальная номенклатура – это создание отдельных, идеологически периферийных групп в недрах аппарата ЦК КПСС, в среде советников, консультантов и спичрайтеров руководителей его отделов и секторов, многие из которых были выходцами из академической или/и журналистской среды и опирались в своей деятельности на такие образовательные центры, как Институт общественных наук и Академия общественных наук при ЦК КПСС и др., а также некоторые гуманитарные академические институты, редакции и «коллективы постоянных авторов» теоретических партийных и некоторых академических журналов<sup>58</sup>.

Собственно, сама «перестройка» и была результатом их деятельности. Но довести ее до конца маргинальные для данной системы группы были не в состоянии. Даже после шести лет (1985-90 гг.) кадровых перестановок, изменивших состав номенклатуры в целом больше, чем сталинские чистки конца 30-х и рубежа 40-50-х гг., в ней так и не возник слой, способный модернизировать общество на основе сколько-нибудь внятной политической и экономической концепции. Подавляющее большинство представителей номенклатуры и в 1990 г., то есть накануне крушения режима и распада СССР, продолжало ориентироваться на четыре идеологических символа – Октябрьскую революцию, Ленина, социалистический выбор и, как модель государства – Советский Союз<sup>59</sup>.

Но если номенклатурная интеллигенция была неспособна справиться с концептуализацией происходящих изменений, о чем можно было догадаться заранее, то не в лучшем положении оказалась и интеллигенция несоветская. Сочетание дополняющих друг друга бессилий двух интеллектуальных элит объясняет ту специфическую логику, которая отличала советские, а затем российские реформы во второй половине 80-х – начале 90-х годов. Вообще, мотивы и стимулы политических деятелей эпохи «перестройки» и «гласности» понять иногда труднее, чем поступки их предшественников и последователей.

Одна из особенностей этого периода – своеобразный ретро- и интроспективизм, логика поиска «ключа» к настоящему в прошлом, а также выявления якобы скрытых и стертых смыслов, реализации неиспользованных возможностей политических схем, возникших совсем в иных исторических контекстах. Эти схемы интерпретируются гуманистически и прогрессистски: во внутренней жизни так происходит одно время с осмыслением реформ Н.Хрущева, «новой экономической политики»

(«НЭП») начала 20-х гг. и даже коммунистического переворота 1917 г. (попытки ревизовать опыт и политические образы В.Ленина, Н.Бухарина, Л.Троцкого и др.). В 1988-1989 годах вдруг становится чрезвычайно популярным большевистский лозунг «вся власть советам»: только на этот раз, в отличие от 1917 года, советы противопоставляются не Временному правительству и не Учредительному собранию, а фактической единовластии самой КПСС...

Распад СССР в декабре 1991 г. был подготовлен интеллектуальными упражнениями по поводу смысла, заложенного в «союзный договор» 1922 г. его авторами, при том, что этот «договор» был совершенной фикцией с самого начала, никогда не вводившимся в действие текстом, сама идея которого была к тому же отвергнута союзной конституцией 1924 г. В результате границы между бывшими «союзными республиками» автоматически – без оспаривания, но и без оправдания этого обстоятельства – становятся границами независимых государств. Поспешное и почти единодушное одобрение российскими народными депутатами Беловежских соглашений 1991 года свидетельствует об отсутствии у политической и интеллектуальной элит сколько-либо продуманной концепции реформы государства.

Нечто сходное можно было наблюдать и в сфере внешней политики. Комплекс отношений с прибалтийскими государствами, к примеру, механически рассматривался новой российской властью лишь в парадигме советской истории 1917-1991 годов, без учета истории более ранней. В результате Россия начала переговоры с их новыми властями с позиции стороны, нарушившей договоры 1920-х гг.

И ту же логику можно обнаружить в том, как в годы «перестройки» переосмысливается идея образованного в 1975 г. Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ). Идеологическое, чтобы не сказать пропагандистское обоснование СБСЕ, созданной в свое время для «наведения мостов» с Запада на Восток и, с другой стороны – для консервации послевоенного status quo в Европе, начинает пониматься буквально. «Теперь провозглашенные в Хельсинки замыслы обретают реальную почву, – заявляет в 1990 г. М.Горбачев. – И мы можем говорить как о чем-то вполне достижимом – о юридически оформленном европейском пространстве в сферах безопасности, прав человека, экономики, экологии, информации. Сходные идеи «европейского дома», «европейской конфедерации», «европейского мирного порядка» складываются в своего рода политический проект»<sup>60</sup>...

Поколением ранее нечто подобное происходило с советскими диссидентами, пытавшимися прочесть буквально не что иное, как... «сталинскую» конституцию 1936 г. Можно предположить, что единственно возможная логика выхода из тоталитаризма, который был всегда на страже (и для Горбачева на рубеже 80-90-х гг. – немногим меньше, чем для диссидентов 60-70-х гг.), диктовала и сходство используемых приемов. Прочитанный буквально текст, между тем, предполагает и усвоение его лексики, грамматики, стилистики. Российские конституционалисты

уже в 90-х гг. станут мучительно изживать слишком дословно понятые конституции иных времен: «сталинской» 1936 г. и «брежневских» 1977 (СССР) и 1978 (РСФСР) гг.

Точно также и логика «хельсинкского процесса» оказала – и должна была оказать – сильное влияние на восприятие Европы рубежа 80-90-х гг. как геополитической проблемы. Принципы многосторонних связей «всех со всеми» (а не только блока с блоком), новой открытости, единого гуманитарного стандарта и др. могли восприниматься в середине 70-х гг. советским руководством как неизбежная, и при этом формальная, не очень обременительная плата за гарантию сохранения – в основном – status quo.

Именно они, однако, запрограммировали логику, которая спустя полтора десятилетия стала для «перестроечного» руководства как бы естественным критерием оценки того, что уже происходило с Европой, все более ускользя из-под контроля этого руководства. Отказ от так называемой «доктрины Брежнева» был провозглашен М.Горбачевым, закреплен в Парижской хартии 1989 г., зафиксировавшей отказ СССР от сферы влияния, и осенью-зимой 1989 г. подтвержден делом при драматических обстоятельствах, сопровождавших «бархатные» и прочие революции в странах Восточной Европы. Этот отказ стал синтезом своего рода политического прагматизма и, вероятно, нравственного выбора советских лидеров и был по-своему логичным. Нельзя забывать только, что эта логика, в том числе конкретная форма и содержание отказа, были оставлены в наследство М.Горбачеву и его наследникам не кем иным, как самим Брежневым, подписавшим в Хельсинки Заключительный акт СБСЕ. И именно она никем в то время всерьез оспорена не была.

Стереотипность мышления – болезнь не только интеллектуально-политической элиты в узком смысле слова. «Перестроечная» публицистика, научная и литературная, а также кинематография и театр – уникальный памятник философской, нравственной и эстетической потерянности советских интеллигентов, обесмыслившей само понятие культурной элиты.

...В одной из провинциальных газет в 1989 году целая полоса отдана статье об открытии в крупном поволжском городе стриптиз-шоу. Оказывается, затею не так просто осуществить, как могли бы подумать читатели. С подозрением относится к ней дирекция ресторана, где всё происходит. Спротивляется публика, непросто убеждать и самих участниц: им это, в общем, не по вкусу. В конце статьи, вместо ответа на напрашивающийся вопрос, зачем, собственно, было затевать то, что, похоже, не нужно никому и что, при этом, многие осуждают, журналистка пишет, что все жертвы приносятся, чтобы «нормальные цивилизованные зрелища стали частью нашей жизни»<sup>61</sup>.

В этом бесхитроном репортаже яснее, чем во многих «высоколобых» публикациях той эпохи, выражена главная тема советской «перестройки»: объявившаяся необходимость перехода от общества, утвержденного

на идеальных началах, но доказавшего, наконец, свою несовместимость с реальной жизнью, к обществу реальному («нормальному», «цивилизованному» и т. д.), заведомо, однако, не выдерживающему критики с любой идеальной точки зрения.

Надо признать, что ни советская, ни несветская интеллектуальные элиты с этой темой не справились. В основу «перестроечных» этоса и пафоса легла не идея «самостояния человека», не тема личной ответственности, не аксиология или технология перехода в новое состояние, а соблазняющая идеализация этого предполагаемого нового состояния, живой образ которого искали вначале в советском, а затем в дореволюционном прошлом или на современном Западе. Для представителя интеллектуальной элиты, претендующего на право критиковать государство и общество с более или менее определенной нравственной и концептуальной позиции, но не находящего в данном случае твердой опоры, подобная ситуация опасна.

Не случайно в публицистике перестроечного периода особую популярность приобретает образ аквариума, содержимое которого легко превратить в рыбный суп, при том, что обратная операция несколько затруднительна. В академической среде на рубеже 80-90-х гг. ведутся бесконечные споры в сущности о том же – о принципиальной реформируемости или неререформируемости советского общества. И этот образ, и эти бесплодные споры – симптом бессилия функциональной интеллигенции, не имеющей возможности прибегнуть к спасительной помощи интеллигенции рефлексивной. Перефразируя Шамфора, можно было бы сказать, к моменту краха СССР в стране было несколько тысяч интеллигентов, жаждавших идей, и несколько десятков, неспособных их предложить.

Определенные надежды в конце 1980-х гг. возлагались на эмиграцию, которая, как некоторые считали, могла сыграть немаловажную роль в констатировании новой политической элиты и, во всяком случае – элиты интеллектуальной. Именно так впоследствии и произойдет в некоторых странах Восточной Европы и Балтии – но не в России. Уже первый (и на сегодняшний день единственный) конгресс соотечественников, проходивший накануне и в самые дни августовского путча 1991 г. и привлекая немало людей из-за рубежа, развеял большинство иллюзий. Три четверти века отрыва от Родины, третье поколение, рожденное в эмиграции первой волны за ее пределами, – уже по одному этому возвращение к родным пепелищам не могло быть таким же естественным, как в Польше, Чехии или Латвии. Что не менее важно, в начале 1990-х гг. в самой России не существовало решающих условий, которые делали бы включение остатков русского зарубежья в ее политическую и интеллектуальную элиты органичным. Не существует их и сегодня. Не вполне внятное отречение от коммунистического прошлого, неразрешенность вопросов о правопреемстве, то есть о юридической природе нынешней российской государственности, а также о реституции (восстановлении прав на незаконно отчужденную собственность) – все это

позволяло и позволяет в лучшем случае рассчитывать на благотворительную деятельность «старого» русского зарубежья в России и на постепенное возвращение в Россию его концептуального наследия, но не на полноценное участие в ее государственной, хозяйственной и культурной жизни. К сказанному следует добавить и несколько настороженное отношение в стране и, в частности, среди «постсоветского» чиновничества, к потомкам представителей первых волн эмиграции, возможно связанное с подсознательной боязнью конкуренции и выставления напоказ собственной профессиональной несостоятельности.

В целом, наверное, архетипичен (хотя и не типичен) «казус Солженицына», вернувшегося, чтобы, оставаясь на периферии общественной жизни, вольно или невольно работать в своей стране на русскую культуру, может быть даже и лишнюю в будущем политического измерения.

Конечно, несправедливо было бы сказать, что вся интеллектуальная элита оказалась в критические годы «перестройки» полностью дезориентированной и лишь стереотипно реагирующей на события, которые она была не в силах ни предвидеть, ни концептуально осмыслить. Отдельные интеллигенты и целые исследовательские группы не только выражали озабоченность происходящим, но и разрабатывали потенциально технологичные модели «выхода из коммунизма» в области внутренней и внешней политики, межэтнических отношений и т. д. Проблема состояла не в отсутствии таких моделей и таких людей или групп самих по себе, а в их не востребоваемости со стороны как власти, так и общества, еще лишнего автономной от нее организации.

Воплощение в жизнь любой политической концепции предполагает наличие как минимум двух стадий, причем на каждой из них действует своя особая логика. На первой может быть предложена достаточно оригинальная, чтобы стать увлекательной, по возможности непротиворечивая модель (государственного или международного устройства, политической или экономической реформы и т. д.). На второй должен возникнуть диалог по ее поводу, согласование и разведение позиций. Как правило, удачные модели на первый взгляд оказываются несравненно менее привлекательными, чем те, которые послужили стимулом для их возникновения. У них обычно только одно преимущество: они жизнеспособны, поскольку опираются на некоторое выношенное согласие. Стадии по сути равноценны: одинаково бесперспективно как останавливаться перед второй, так и начинать политический процесс сразу с нее.

В годы перестройки, между тем, перспективные модели обычно оставались на стадии «сырых» опытных разработок, в то время как интеллектуально-политическая элита, как правило, бралась за дело и импровизировала на основе стереотипов.

Несколько особняком в ряду интеллектуально-политических импровизаций стоит, пожалуй, лишь история экономической реформы 1992

года. Элитарные советские экономисты второй половины 80-х годов, в отличие от своих коллег в других областях гуманитарных и общественных наук, уже располагали кое-каким опытом реальных экономических реформ в странах Восточной Европы и чувствовали себя готовыми (обоснованно или нет – вопрос другой) к его повторению или развитию. Они раньше, чем другие специалисты, стали работать в тесном и постоянном контакте с опытными зарубежными коллегами, раньше, чем кто-то еще, объединились в работоспособные творческие группы, построенные на современных принципах, раньше стали действовать в контакте с верховной властью или, по крайней мере, в расчете на нее. Большинство таких групп сложилось как практически ориентированные центры реформ в конце собственно «перестройки». Но даже и этот потенциал фактически не был востребован «перестроечной» номенклатурой и был реализован наспех, в крайне жесткой, грубо-технократической форме лишь после августовского путча и распада СССР.

В целом, отсутствие ясных представлений о характере государственности и типе легитимации власти в посткоммунистической России отличало внутрисполитические воззрения интеллектуальной элиты, а отсутствие концепции национальных интересов – ее внешнеполитическую «программу».

А дальше вступил в действие механизм, присущий любой революции. ...Быт становится или начинает казаться непереносимым, власть сомневается в себе, колеблется и разрушается, ее привычки и ценности осмеиваются. Страна начинает имитировать жизнь на основе тех идей, говорить на тех языках, которые имеются в наличии на данный момент и используются влиятельными политическими группировками, причем происходит быстрый отбор и первых, и вторых в пользу тех, которые способны быстро, спазматически интегрировать то, что остается от прежней системы... В такие периоды уже не до изобретения новых парадигм и языков.

Не сами идеи взрывают общество, и события 1985-1991 гг. здесь не исключение, однако от их качества зависит то, каким оно выходит из периода потрясений.

Если говорить специально о несоветской интеллигенции, то она, в большинстве своем, после периода скептического и несколько брезгливого отчуждения от ранней «перестройки», бросилась на митинги, в эфемерные политические клубы и партии, на выборы. Чисто интеллигентский, академический «Клуб избирателей», созданный для выборов 1989 года, сыграл, вероятно, решающую роль в организационном оформлении «демократической оппозиции». Из его состава вышли многие её активисты, ставшие впоследствии депутатами, министрами, деятелями новой экономики с небесспорной репутацией... Другая организация – «Московская трибуна» объединила в своих рядах представителей несоветской и советской интеллектуальных элит, утративших в политическом взаимодействии под одной крышей свои специфические черты. Наконец избранной на Съезд народных депутатов СССР в марте 1989

года оказалась часть «элиты элит» и советской (Р.З.Сагдеев, Г.А.Арбатов и др.), и несоветской (С.С.Аверинцев, В.В.Иванов и др.), и диссидентской (А.Д.Сахаров и др.) интеллигенции. Огромную – и, по-своему, роковую – роль в радикализации Съезда сыграл корпоративный принцип представительства, определенный для половины депутатов: их избрание не напрямую, а от общественных организаций, а именно избрание наиболее «демократической» группы от Академии наук СССР. Представители интеллектуальных элит составили основу первой в советской истории оппозиционной парламентской фракции – «Межрегиональной группы депутатов», созданной в июле 1989 года.

В годы работы этого Съезда (1989-1991 гг.) «артистическая душа» интеллигенции получила не только сцену, но и признание зрителей: интеллигенты-активисты были самыми популярными персонажами в стране, наряду с профессиональными актерами-активистами. Последние также во множестве оказались на Съезде народных депутатов. Инвективы «трибунов» демократического движения в адрес коммунистического режима во время работы Съездов народных депутатов и сессий Верховных Советов СССР и РСФСР, транслировавшихся по телевидению на всю страну, повысили как их собственную популярность, так и популярность интеллигенции в целом, что, в частности, позволило создать костяк будущей политической протозлиты. По данным на ноябрь 1991 г., 70% представителей президента Российской Федерации в регионах окажутся народными депутатами, среди которых будут преобладать лица интеллектуального труда – преподаватели, юристы, экономисты, инженеры, физики, врачи<sup>62</sup>.

Августовский путч 1991 года ставит точку одновременно в истории коммунистического режима и в судьбе «сиамских близнецов» – советской и несоветской интеллигенции. Собравшись в центре Москвы, огромная толпа интеллигентов – «мэтров», «учителей», старших научных сотрудников, «свидетелей», эзотериков и т. д. – три дня и три ночи творит тот грандиозный хэппенинг, о котором можно было только мечтать долгие десятилетия и к которому внутренне готовились многие годы. Три августовских дня – акме интеллигенции. Однако, вернувшись «от Белого дома» в свой собственный, она обнаруживает себя в положении Золушки, задержавшейся на балу Собственно, нечто подобное ей заранее предсказывают: из одного «угла» – А.Солженицын, из другого – А.Зиновьев. И именно эти двое – в разное время – возвращаются в Россию.

События, взрывающие номенклатуру, разрушающие режим, Советский Союз, вынуждающие значительную часть населения испытать шок экономических и социальных потрясений, обесценивают старую интеллектуальную элиту. Шанс конвертировать её в новую, более современную, то есть идеологичную и технологичную, предоставленный, как казалось, «перестройкой», оказывается упущенным, может быть, его и не существовало вовсе. Так или иначе, в период «послеперестроечных»

реформ страна вступает без явных «властителей дум» и интеллектуальных авторитетов – во всяком случае коллективных.

В целом интеллигенция как социальная группа переживает тяжелый период структурной дезинтеграции. Уход самых энергичных ее представителей в мир политики или экономики и массовая «утечка мозгов» за границу разрушили основы неформальных структур и механизмов элитного отбора, которые сложились в научном сообществе в 1970-е гг.<sup>63</sup>

Основные причины психологического дискомфорта, столь распространенного в 1990-х гг. в интеллигентской среде, очевидны. Это – падение престижа интеллигентских профессий, ухудшение материального положения работников бюджетной сферы и, наконец, резкое изменение характера спроса на большинство видов интеллектуальной продукции. Только незначительная часть интеллигенции как-то сориентировалась в условиях нарождающегося рынка, тогда как основная масса с удивительной быстротой деградирует в социальном отношении.

Об этом можно судить по данным опроса (представительного в отношении взрослого населения России), проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в 1994 году, зафиксировавшего отношение разных возрастных групп российского населения к будущему своих детей или внуков.

**Таблица 1**

**Кем бы Вы хотели видеть Вашего сына (дочь, внука)?**

*(В % к числу опрошенных; сумма ответов превышает 100%, поскольку респондент мог дать несколько ответов на вопрос; 1994 г.)*

Варианты ответов	Возраст			
	до 25 лет	25-39 лет	40-54 года	55 лет и
1. Ученым	8	8	9	12
2. Врачом, учителем, инженером	17	32	32	34
3. Артистом, писателем	14	10	5	5
4. Спортсменом	20	13	11	6
5. Директором банка	23	13	12	7
6. Владельцем магазина	10	9	8	2
7. Бизнесменом	20	20	17	7
8. Офицером	9	10	13	13
9. Рабочим	9	14	25	24

(Составлено по: Левада Ю.А. Возвращаясь к феномену «человека советского: проблемы методологии анализа. ВЦИОМ. Информационный бюллетень мониторинга, № 6, 1995 г. С. 17).

Легко заметить, что возраст опрошенного прямо связан с его отношением к желательной карьере детей или/и внуков. Если в группе, кому

более 55 лет 46% все еще хочет для них «интеллектуальной» специальности (первые две строки таблицы), то в группе моложе 25 лет таких только 25%. Зато соответствующие цифры для областей, связанных с искусством и спортом (образ «кумира толпы») – 11% и 34%, а с предпринимательством (строки 5-7) – 16% и 53%. Вероятно, за десять или двадцать лет до этого опросы такого рода, если бы они проводились, дали бы совсем другой результат, гораздо более близкий к старшей группе 1994 года, и даже еще более «проинтеллектуальный». Однако тогда, в годы торжества советской и несоветской интеллигенции, даже попытка проведения такого опроса принесла бы социологу большие неприятности.

Противоречивость реформ объясняет то обстоятельство, что понятия культурной и интеллектуальной элит в сегодняшней России существенно расходятся. Уникальный в своем роде опрос, проведенный тем же Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в 1988 и 1993 годах, позволяет определить параметры «культурных элит» в период перехода от «перестройки» к посткоммунистическому периоду<sup>64</sup>.

Если судить на основании данных этого опроса, можно прийти к выводу, что никакой смены «культурной элиты» в критическое для России пятилетие вообще не произошло (см. табл. 1).

**Таблица 2 Советская и российская «культурные элиты» (1988 и 1993 гг.) на фоне элит в целом (данные в скобках)**

<i>Пол</i>		<i>Возраст</i>				
<i>Муж.</i>	<i>Жен.</i>	<i>до 39</i>	<i>40-49</i>	<i>50-59</i>	<i>60-69</i>	<i>70 и старше</i>
94,4	5,6	9,8	21,0	35,5	24,3	9,3
96,4	3,6	4,3	12,9	33,9	33,1	-
(94,5)	(5,5)	(7,5)	(25,6)	(45,0)	(18,7)	(3,2)
(93,3)	(6,7)	(18,5)	(33,9)	(34,7)	(10,3)	(2,6)
<i>Образование</i>			<i>Членство в компартии</i>		<i>Был ли избран на парт. должность</i>	
<i>Начальное</i>	<i>Среднее</i>	<i>Высшее</i>	<i>Да</i>	<i>Нет</i>	<i>Да</i>	<i>Нет</i>
0,0	4,7	95,3	93,5	6,5	73,8	26,2
0,0	2,9	97,1	77,7	22,3	57,6	42,4
(0,0)	(6,1)	(93,9)	(96,7)	(3,1)	(70,8)	(29,2)
(0,3)	(5,4)	(94,3)	(78,4)	(21,6)	(47,1)	(52,9)

Составлено по: ВЦИОМ. Информационный бюллетень мониторинга. 1996, № 1 (21), с. 36.

Создается впечатление, что в 1993 году мы встречаемся с той же самой «культурной элитой», что и в 1988 г., только несколько постаревшей (что было бы довольно естественно во всякое другое время, кроме этого) и отчасти обновившейся за счет «вторых» и «третьих» лиц в номенклатуре,

пришедших на смену некоторым «первым». О последнем обстоятельстве свидетельствует снижение доли тех, кто на том или ином этапе жизни состоял в КПСС и занимал в ней выборные должности. Старение «культурной элиты» в 1988-1993 гг. производит особенно сильное впечатление на фоне резкого омоложения элиты в целом. В последней доля тех, кому меньше 50 лет, увеличилась за это пятилетие с 33,1 до 52,4%, в составе же «культурной элиты» снизилась с 38,0 до 17,2%.

В действительности, конечно, парадокс во многом мнимый. Многие бывшие советские, а после 1991 г. – российские академики, руководители академических и отраслевых институтов, так называемый «красный ректорат» и т. д. остались на прежних постах, хотя значение и престиж их позиций резко упали. Ряд известных ученых тогда – как, впрочем, и впоследствии, – просто отказывается баллотироваться в Академию наук или нимало не озабочен членством в ней, непросто становится найти и авторитетных молодых исследователей на должности руководителей старых исследовательских центров.

Что касается так называемых «общенациональных изданий», то изменения в составе редколлегий некоторых из них произошли еще до 1988 года – в самый разгар «гласности». А после конца коммунистического режима и распада СССР само понятие «общенациональной газеты» во многом утратило прежний смысл. Лишь несколько газет по традиции претендовали на этот статус (из «старых» прежде всего – «Известия», а также «Труд» и «Комсомольская правда», «Сельская жизнь», из числа «перестроечных» – «Аргументы и факты»), причем тиражи и влияние этих газет не шли ни в какое сравнение с доперестроечными и перестроечными временами. Ядро их читателей (как и некоторых не вошедших в первую дюжину, например – некогда главной «интеллигентской» газеты – «Литературной газеты») – составляли те, кто продолжал их выписывать по многолетней привычке. А главное – «старые» газеты, в сущности, растворились в море новых московских изданий, а также местных газет. Конкуренцию им составили также информационные программы московских и местных телеканалов, которым всё чаще отдавали предпочтение бывшие читатели «центральных» газет, не говоря о молодежи, все больше «уходившей» в Интернет.

Главное же – газеты 1990-х гг. для элиты – это, в основном – не самые популярные издания. В приведенном ниже рейтинге (см. таблицу 3), основанном на данных опроса, проведенного в 1996 г., но, до известной степени, отражающем положение дел в течение всех 1990-х гг., они занимают 9-11 строчки.

Совершенно особое место среди элитарных изданий завоевывает в 1990 – гг. «Независимая газета». По данным социологического исследования 1999 г., две трети (64%) читателей «НГ» имели высшее образование, и почти четверть (22%) – ученые степени<sup>65</sup>. Круг авторов и потенциальных авторов «НГ» очевидным образом совпадает с кругом ее читателей (тираж – около 50 тысяч экземпляров) в гораздо большей

степени, чем у любого другого издания в России, кроме, конечно, маргинальных политизированных газет. Как ни парадоксально звучит такое сравнение, по своей функции «НГ» после 1991 г. больше всего напоминает лондонскую «The Times» на протяжении значительной части

Таблица 3

**Рейтинг популярности основных центральных газет**

*(ВЦИОМ, 1-21 ноября 1996 г., всероссийский опрос, 2400 чел.)*

Наименование издания	Популярность, %	Тираж, тыс. экз.
1. Аргументы и Факты	20,2	3360
2. Комсомольская Правда	11,4	1400
3. Труд	5,6	1400
4. Известия	2,6	811
5. Российская Газета	2,6	523
6. Советская Россия	2,2	???
7. Правда	1,4	165
8. Сельская Жизнь	1,3	???
9. Коммерсантъ-daily	1,2	150
10. Независимая Газета	0,6	55,2
И. Сегодня	0,4	100
12. Красная Звезда	0,4	???

Таблица 4

**Рейтинг популярности информационных программ ТВ**

<i>(ВЦИОМ, 01-21 ноября 1996 г., всероссийский опрос, 2400 чел.)</i>		
Наименование телепрограммы	Телеканал	Популярность, %
<b>ЕЖЕДНЕВНЫЕ ВЫПУСКИ НОВОСТЕЙ:</b>		
«Время»	ОРТ	57,4
«Вести»	ВГТРК	51,4
«Утро»	ОРТ	29,3
«Новости ИТА»	ОРТ	22,7
Местные новости (для Москвы – «МТК»)	местные	22,4
«Сегодня»	НТВ	19,8
«Времечко»	НТВ	12,3
«Информ-ТВ»	С-Пб	7,8
«Новости 2х2»	2х2	7,7
«Шесть новостей»	ТВ-6	5,3
<b>ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ АНАЛИТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ:</b>		
«Итоги»	НТВ	19,7
«Время» с С.Доренко	ОРТ	???
«Зеркало»	ВГТРК	9,1

XIX в., ценную не столько качеством своих корреспонденций, сколько тем, что в ней можно было опубликовать – в виде письма к редактору – любую точку зрения, если только она не высказывалась лицом, в официальном порядке признанным сумасшедшим<sup>66</sup>.

В целом «культурная элита» образца середины 1990-х гг., как она предстает перед нами в опросе ВЦИОМ, – не новая элита, а старая, в основном «перестроечная», пережившая свое время и нашедшая скромную нишу в новых условиях. В 90-х гг. она во многом лишена «души»: в Академии наук существовали гуманитарные институты, внешне, в том числе по своему составу, мало изменившиеся с советских времен, продолжавшие готовить какие-то публикации, как-то отчитываться ими перед Президиумом Академии наук и т. д. При этом основная часть их сотрудников получала основной доход не в этих институтах, где заработная плата была минимальной, а где-то на стороне, участвуя в разных исследовательских проектах (чаще всего международных или зарубежных), выступая в роли консультантов государственных органов и структур частного бизнеса, занимаясь переводами, частным репетиторством, преподаванием и т. д. То, что в советский период было источником сравнительно небольших побочных доходов, стало (немаловажно, при этом, что смогло стать) основным занятием. За Академию наук и высшие учебные заведения многие сотрудники продолжали и продолжают держаться по привычке, «на всякий случай», а также потому, что остатки престижа они все же сохраняют. Академический титул или должность профессора или доцента – неплохое дополнение к ставке в частном секторе или в государственной администрации. Преподавательское совмещение на российской государственной службе разрешено, допускается и участие в научных исследованиях: результат деятельности «академического лобби» в парламенте и органах исполнительной власти. Соответствующие права чиновников, как и право на авторский гонорар, были отмечены в законе о государственной службе особо и отстаивались многими депутатами с необычной страстью, что было несколько комично, поскольку с головой выдавало их социальное происхождение.

«Старые» элитарные академические журналы продолжают существовать, но их тиражи резко упали, а качество иногда (не всегда) снизилось. Точнее, речь идет об относительном снижении качества – в смысле соответствия требованиям времени и условиям научной конкуренции в условиях открытых границ. Что касается новых научных и интеллектуальных журналов, то их система еще не сложилась. Сложнейшая проблема сегодня – составление более или менее полных библиографий, так как многие новые периодические издания успевают выпустить лишь по нескольким номерам (если не единственный), которые часто не попадают даже в крупные библиотеки.

Постсоветская научная элита даже более изолирована от мировой, чем советская. Западные периодические издания поступают в библиотеки с переборами, если поступают вообще, информация из Интернета

по разным причинам доступна не всем, простейший способ установления научных связей с внешним миром на элементарном уровне – издание хотя бы нескольких российских научных журналов на английском языке – почему-то не используется.

Прежняя среда общения советской (и несветской) интеллектуальной элиты – едва ли не ежедневные встречи в крупных библиотеках, престижные семинары, многочисленные защиты диссертаций, посещение «Домов творчества», совместный отдых в особых местах (например – Коктебель в Крыму и др.), наконец – постоянные встречи на дому, на так называемых «кухнях», и т. д. – сегодня практически исчезла, а новой не возникло. Остатки старой интеллигенции сегодня атомизированы, ее представители работают по совместительству в нескольких местах сразу, многие эмигрировали или сменили сферу деятельности.

По сути дела сойдя на нет в качестве особой общественной группы, советская интеллигенция, в том числе и часть бывшей интеллектуальной элиты, стала основным источником пополнения новых протоэлитных групп. «Перестройка» открыла новые пути перед самыми энергичными представителями интеллигенции, как, впрочем, и перед выходцами из номенклатуры КПСС, ВЛКСМ, КГБ. В 1987-90 гг. многие интеллигенты-прагматики, люди практического действия, преуспели в сфере частного бизнеса. Именно они составили основу слоя крупных предпринимателей.

Принято считать, что российский бизнес 1990-х гг. – едва ли не самый «интеллектуальный в мире», и это едва ли очень большое преувеличение, во всяком случае, образовательный уровень предпринимателей в России в этот период выше, чем у соответствующих групп в Польше и Венгрии<sup>67</sup>.

По данным фонда «Общественное мнение», удельный вес лиц с высшим образованием среди предпринимателей превышает 80%, по результатам опроса подписчиков газеты предпринимателей «Коммерсант-Дейли» – 95%, а опроса ВЦИОМ, проведенного в 1993 году – 92%<sup>68</sup>.

Из 60 крупнейших бизнесменов, проинтервьюированных Центром предпринимательских исследований «Экспертиза», лишь 4 человека не имели формального высшего образования. Значительной была в предпринимательской среде и доля лиц с двумя высшими образованиями или с ученой степенью. Среди опрошенных подписчиков «Коммерсант-Дейли», представляющих наиболее элитарный слой бизнеса, – даже 56%. 71% российских предпринимателей, т. е. подавляющее большинство – были интеллигентами во втором поколении, и только 21% – выходцами из рабочих семей<sup>69</sup>.

Столь же «интеллектуализированной» в эпоху Ельцина была и российская политико-административная элита, хотя в целом она оставалась весьма неоднородной. Наряду с «митинговыми» активистами и интеллектуалами-технократами в ее состав вошли представители старой номенклатуры, перешедшие в 1991-1993 гг. на сторону нового

режима либо из карьерных соображений, либо в результате смены убеждений.

Как бы то ни было, в первой Государственной Думе РФ (1993—1995 гг.) 33% депутатов имели кандидатскую и докторскую степени, во второй (избрана в 1995 году) – 31%. Только докторов наук в них насчитывалось соответственно 11 и 9%<sup>70</sup>.

«Интеллектуальный потенциал» Государственной Думы был сосредоточен не столько во фракциях, сколько в комитетах, подкомитетах и комиссиях, где велась, да и сегодня ведется, постоянная экспертно-аналитическая и даже научная работа с привлечением экспертов и консультантов со стороны. Влиятельные депутаты располагают своим формальным и неформальным штатом помощников и советников. В Думе проводятся открытые слушания в широком составе, семинары и конференции, действуют экспертно-аналитические советы, рабочие группы и т. д. Все сказанное относится в этот период и к верхней палате – Совету Федерации – с тем исключением, что фракций здесь вообще не существует.

Средоточием политико-интеллектуальной элиты в 1990-х гг. стало, однако, президентство. Можно указать на существование нескольких органов, сформировавшихся президентом, в чьей деятельности влияние «интеллектуального компонента» было особенно заметным.

Это, конечно, Администрация Президента в широком смысле слова (вместе со службой помощников и другими структурами), чья роль и возможности колебались, в зависимости от ситуации, в широком диапазоне от личной канцелярии президента почти до параллельного правительства. Руководители многих важнейших структур Администрации, не говоря о помощниках, были выходцами из научного мира, как и их подчиненные. Это Совет Безопасности – своего рода консультативное «политбюро» демократической эпохи, при котором также велась исследовательская работа с привлечением экспертов. Это несколько декоративный Президентский совет, состоявший из людей, привлекаемых главой государства на индивидуальной основе, и в полном составе собиравшийся лишь по редким торжественным случаям, при том, однако, что часть его членов – интеллектуалы по статусу – работали в создававшихся время от времени консультативных группах. Это различные «малые» консультативные президентские советы и комиссии (по социальной политике, по делам молодежи, по делам религий, по научно-технической политике, культуре и образованию и т. д. – общим числом три с половиной десятка), работавшие на неоплачиваемой основе, возглавлявшиеся, как правило, либо президентом, либо главой его администрации и объединявшие в своем составе сотни ведущих интеллектуалов – специалистов в разных областях.

В том, что касается правительства, источником своего рода ностальгии для части интеллектуалов стал период, когда у власти находилось правительство Е.Гайдара (1992 год). Это было необычное правительство, в которое вошли молодые технократы – выпускники престижных

высших учебных заведений, имевшие ученые степени и способные разговаривать на равных со своими академическими коллегами и западными экспертами. Справедливости ради надо признать, что для другой части интеллектуалов опыт этого правительства стал символом самонадеянности, бездушия и бессилия интеллигенции, дорвавшейся до власти. Как бы то ни было, после опыта гайдаровского правительства, хотя интеллектуалы и привлекаются к правительственной деятельности (особенно – к экономической её составляющей), общий дух правительства становится сугубо бюрократическим и, в отличие от администрации президента и парламента, его в целом нельзя более назвать вместилищем сколько-либо заметной части интеллектуальной элиты.

Заметную роль, как известно, играли в российской политике 1990-х гг. так называемые «консультативные центры». Объединяющие квалифицированных, обычно – молодых аналитиков, имиджмейкеров, специалистов по работе со средствами массовой информации, эти небольшие независимые организации, действующие на коммерческой основе, консультируют партии и отдельных политиков (почти всегда – из «демократической» части политического спектра), участвуют в избирательных кампаниях, занимаются лоббированием и т. д. Они – неплохая школа для молодых специалистов, в том числе политологов: между ними и «наукой ради науки» в сегодняшней России существует менее непродолимая стена, чем в странах с давно сложившимися политическими системами, в которых четко проводится грань между ремеслом и профессией людей, использующих свой интеллект в сфере политики или при ее изучении.

Сегодня еще невозможно говорить о возникновении самостоятельной элиты в средствах массовой информации: слишком она молода и слишком сложные, непредсказуемые процессы развиваются в этой области. Тем не менее, в настоящее время уже существуют издания и телевизионные программы, которые, собственно, представляют собой элемент системы, включающей в себя и часть политической, и часть интеллектуальной элит. Большинство этих изданий (таких как «Независимая газета», «Сегодня», «Коммерсантъ-Дейли», «Московские новости», «Общая газета», «Новая газета») либо замыкают первую дюжину изданий общенационального значения, либо не входят в нее (см. таблицу 3). И те, и другие пользуются известностью и влиянием в первую очередь в Москве, а также Санкт-Петербурге и в некоторых других крупнейших городах.

Среди телевизионных программ отчасти сходную роль играет программа «Итоги», при том, что её относительная значимость в общенациональных масштабах несравненно выше (см. таблицу 4). В 1993-1994 годах её значение было вообще уникальным: когда президент и его администрация ощутили потребность в общественной поддержке президентства, в налаживании конструктивных отношений с другими ветвями власти, средствами массовой информации и т. д. некоторые постоянные

эксперты этой программы стали помощниками Президента, сотрудниками его администрации и членами Президентского Совета.

Важная, хотя не всегда легко прослеживаемая роль в структурировании интеллектуальной элиты принадлежала в 90-х гг. московским клубам, как местам постоянного общения и, иногда – центрам разработки определенных политических концепций и программ. Спектр их политических ориентаций – от постноменклатурного либерализма до расплывчатого интеллигентского социализма. Местами постоянного общения представителей интеллектуальной элиты являются также некоторые фонды. Особую роль в этом смысле играл в 1992-1993 гг. Горбачев-Фонд, бывший, пожалуй, главным центром притяжения независимых интеллигентов, придерживавшихся очень разных политических убеждений: от умеренно левых до умеренно националистических. В последующие годы появились и другие фонды – более специализированные и компактные. Здесь проводятся семинары, конференции, действуют своего рода «клубы друзей», выпускаются публикации. Академические же институты и высшие учебные заведения за редкими исключениями (вроде ВШЭ-У или МГИМО) сегодня практически утратили роль «мест сбора» интеллектуальной элиты, хотя многие её представители там, разумеется, работают.

В целом состав почти всех московских (с более или менее скромным немосковским участием) клубов, фондов, издателей и авторов элитарных газет и т.п. можно представить себе в виде сложной системы пересекающихся окружностей разного диаметра. Подавляющее большинство принадлежащих к этим общностям – несколько сот человек – прекрасно знают друг друга, входят, как правило, в состав нескольких кругов и встречаются едва ли не ежедневно: если не на официальных заседаниях, семинарах, конференциях, «круглых столах», в телевизионных студиях и редакциях трех-четырех газет, то на приемах, презентациях, открытиях выставок, кино- и театральные премьеры. Одному из завсегдатаев подобных встреч даже пришла в голову счастливая мысль соединить все подобные клубы в один – «клуб давно не видевшихся» (обычное приветствие в этой среде: «Привет, давно не виделись...»). Естественно, что у узкого круга есть и периферия, насчитывающая несколько тысяч человек: это те, кто принадлежит лишь к отдельным общностям или присоединяется к ним время от времени (высококласные специалисты-консультанты, авторы отдельных нашумевших публикаций, представители немосковских элит и др.).

В отличие от некоторых органов власти, отдельных средств массовой информации, независимых консультативных центров и организаций клубного типа и фондов, политические партии сегодня в целом нельзя назвать местом концентрации интеллектуальной элиты, а партийные «мероприятия» – естественной средой ее обитания.

Партийная система страны представляет собой сегодня конгломерат организаций, часть которых худо-бедно играет роль несуществующих

партий. Стержень системы – так называемая «партия власти», которая партией в собственном смысле слова не является, представляя собой в описываемый период продолжение аппарата двух президентов, побеждавшего на выборах в июне 1991, июле 1996, декабре 1999 и марте 2000 гг., (а также, отчасти, аппарата правительства в 1995-1998 гг.) с «периферией»: официальной правительственной партией, будь то «Демократический выбор России», «Наш дом – Россия» или «Единство». Интеллектуальное обеспечение «партии власти» осуществляется в основном за счет части интеллектуальной элиты, включенной во властные структуры и, особенно в периоды выборов – различных независимых консультативных организаций.

Главная сила оппозиции – Коммунистическая партия Российской Федерации (КПРФ) – пока еще представляет собой по сути тоже не партию, а субкультуру: несколько модернизированный реликт старого (советского) порядка внутри нового общества. Однако, в отличие от «партии власти», она формально организована и управляется именно как партия, и у нее есть свои, партийные или ориентированные на партию, интеллектуальные центры. Следует иметь в виду, что если в политическом смысле собственно КПРФ в 1990-е гг. представляла собой ядро субкультуры, в которую входил и так называемый Народно-патриотический союз России проповедовавший квазипатриотические идеи, то в интеллектуальном лидировала, скорее, «патриотическая» периферия. «Интеллектуальную элиту» коммуно-«патриотической» субкультуры, за исключением нескольких имен в составе парламентской фракции КПРФ, символическое значение которых бесспорно, при том, что вклад в разработку идеологии этой партии далеко не очевиден, а также нескольких интеллектуалов-аналитиков, трудно считать частью национальной интеллектуальной элиты: по отношению к этой последней она в целом изолирована и маргинальна.

Еще более изолирован, более того – даже законспирирован интеллектуальный компонент Либерально-демократической партии.

Что касается двух крупнейших «демократических» организаций – движения «Яблоко» и СПС, то в их судьбе, при всех различиях, есть нечто общее. Обе опирались при своем создании и в своей деятельности на престижные интеллектуальные организации, обе считаются интеллектуалами более или менее «своими», обе, наконец, включают в себя сверхпропорционально большое число людей, относящихся к национальной интеллектуальной элите: то есть входящих в престижные клубы, фонды, о которых речь шла выше, прошедших через опыт власти и обладающих при этом более или менее высокой академической репутацией.

Остальные «политические партии» в России – это в лучшем случае политические клубы, небольшая часть которых включает в себя представителей интеллектуальной элиты – в указанном смысле. Остальные же, независимо от их численности, – с интеллектуальной элитой практически не связаны или связаны случайно, через отдельных людей,

в «клуб давно не видевшихся» не входят и, очевидно, в обозримом будущем не войдут.

О политических ориентациях интеллектуальной элиты *на фоне других элит* и населения в целом, к сожалению, можно судить лишь фрагментарно и косвенно: по данным едва ли не единственного опроса такого рода, проведенного ВЦИОМ в апреле-мае 1996 года и охватившего в «элитарной» своей части 1323 респондентов. При этом интеллектуальная элита представлена тем, что авторы назвали «коммуникативной элитой» (227 человек): в основном главные редакторы и их заместители, публицисты, комментаторы, ведущие и др. Правда, в число опрошенных в этой группе вошли и «руководители и ведущие специалисты аналитических центров», что приближает ее к нашему представлению об интеллектуальной элите, как она выглядела в 1990-х гг.

Собственно политические, в смысле – партийные ориентации элиты не слишком показательны 71% ее представителей (и 84% представителей коммуникативной элиты) их просто не имеет. Интереснее сравнить, как воспринимает население в целом, элита в целом и разные элиты, в том числе коммуникативная, вероятные угрозы России (см. таблицу 5).

Легко заметить, что элита в целом воспринимает угрозы более отвлеченно и обобщенно: опасность номер один для нее – не «рост цен и обнищание», как для населения в целом, а «распад экономики». Эта опасность – главная для политико-административной и экономической элит – но не для коммуникативной, у которой она лишь на пятом месте, и с большим отрывом от первой, первая же – опасность прихода коммунистов к власти! Все элиты, как и все население, боятся анархии и преступности. Но элита СМИ, в отличие от остальных, и подобно населению в целом, боится роста цен и не очень боится Запада.

В целом мы видим, что элита средств массовой информации в сегодняшней России при восприятии угроз ближе к населению в целом, чем политики, чиновники, предприниматели и директора предприятий и, при этом, отличается «коммунофобией», чего не скажешь о других элитах и, тем более, о россиянах вообще. Возможно, именно эта близость к населению в некоторых важнейших отношениях делает сегодняшнюю элиту СМИ более приемлемой для населения, чем для других элит, при том, что ее антикоммунизм не вызывает отторжения у него, поскольку население скорее не боится коммунистов, чем симпатизирует им. И эти же данные могут отражать то обстоятельство, что интеллектуальная элита лишена в российской политике 1990-х гг. собственных выраженных черт, кроме антикоммунизма, ставшего ее *raison d'être* или, если угодно, фирменным знаком. С другой стороны, нельзя исключать, что коммуникативная элита просто навязывает населению свои собственные фобии через средства массовой информации, которые она контролирует... Как бы то ни было – избирательное сродство между коммуникативной элитой и населением – но не другими элитами – налицо...

Таблица 5

## Вопрос: «Что сейчас более всего угрожает России?»

	Население в целом	Вся элита	Хозяйственная элита	Административно-политическая элита	Кремлевская элита
Дальнейший рост цен, обнищание широких слоев населения	30,4(1)	20,3(6)	19,2(7)	22,2(5)	24,3(3)
Дальнейший распад экономики, разорение России	29,6(2)	36,6 (1)	41,5(1)	38,0 (1)	23,5(5)
Рост безработицы	29,3(3)	14,6(8)	17,3(8)	13,8 (10)	11,3(11)
Рост преступности	25,8(4)	23,8(4)	25,1(3)	22,7(4)	24,3 (4)
Безвластие, анархия, некомпетентность руководства	19,6(5)	30,8(2)	30,5(2)	31,1 (2)	30,8 (2)
Гражданская война	18,7(6)	8,8(12)	7,1 (13)	8,6 (12)	12,6(9)
Отсутствие уверенности в завтрашнем дне	16,4(7)	18, 2(7)	20,5(6)	15,6 (7)	19,8(6)
Расхищение национальных богатств иностранными государствами и фирмами	15,9(8)	12,8(10)	12,5(10)	14,5 (9)	8,1 (14)
Милитаризация, втягивание в военные конфликты	13, 4(9)	4,0(17)	3,1 (16)	3,2 (17)	7,7 (15)
Распад России, как единого государства	12,1 (10)	7,6 (13)	8,6(11)	7,2 (13)	6,5 (16)
Нараствание зависимости от Запада, превращение России в третьеразрядную державу	11,0(11)	23,1(5)	23,2(4)	25,9 (3)	16,2 (8)
Приход к власти коммунистов	9,8(12)	24,3 (3)	21, 1(5)	21,7 (6)	36,8 (1)
Сохранение у власти нынешнего руководства	5,0(13)	10,6 (11)	7,3(12)	15,1 (8)	6,1(17)
Сворачивание реформ, введение командной экономики	2,7(14)	14,4(9)	14,6(9)	12,8 (11)	17,8 (7)
Очереди, дефицит, карточки	2,4(15)	0,8 (19)	0,8(19)	1,0 (19)	0,4(19)
Введение диктатуры, основанной на силе	2,4(16)	7,5(14)	6,7(14)	6,4 (15)	11,7(10)
Ограничение свобод (слова, выезда за границу)	1,7(17)	4,3(16)	2,5(17)	3,4 (16)	10,1 (12)
Передел собственности	1,5(18)	7,3 (15)	6,7(15)	7,1 (14)	8,9 (13)
Массовые репрессии, преследование инакомыслящих	1,4(19)	2,5 (18)	2,3(18)	2,9 (18)	2,0 (17)

(Составлено по: ВЦИОМ: Элита в контексте президентских выборов-96,-М., 1996. С. 24.). Цифры в скобках – порядковые номера вариантов ответов в зависимости от их удельного веса в данной группе).

Подведем итог развития интеллектуальной элиты России в 1990-е гг.:

- Советская культурная элита, полумертвая уже в годы так называемого «застоя», не распалась и не растворилась в «новом» российском обществе. Как это ни странно на первый взгляд, она оставалась – и по-прежнему остается – на своем месте, но только значение этого места резко изменилось. Это обстоятельство для одной ее части является свидетельством неполноценности реформ, для другой – их изначальной пагубности.
- «Творческие конфликты» между различно ориентированными группами политико-интеллектуальной элиты происходили в основном внутри «своих» политических течений. Борьба же между основными течениями – «партией власти» и коммунистами – велась преимущественно в сфере политики и администрации, а не культуры, что, с одной стороны, не стимулировало рождения новых политических идей, а с другой, возможно, позволяло преодолевать конфликты, не «увековечивая» их в идеологиях. Достаточно вспомнить, что ни крах коммунистического режима в августе, ни распад СССР в декабре 1991 года, ни «шоковая терапия» 1992 г., ни шок чеченских войн, ни даже настоящая, хотя и локальная гражданская война, произошедшая в Москве осенью 1993 года, не раскололи общество. Возможно, идеологическая амнезия, связанная с качеством интеллектуальной элиты в этот период, сыграла роль своего рода социального наркоза.
- Не только рефлексивная, но и функциональная интеллектуальная элита на сегодняшний день не вполне сложилась, до последнего времени она имела несколько безличный, анонимный характер, оставаясь во многом растворенной во властной элите, околотовластных кругах, а также в экономической элите («олигархаты») и, конечно, в элите коммуникационной. Подобно поручику Кижэ, она почти лишена самостоятельной физической формы, если не среды обитания и сетей коммуникации (газеты, особенно «НГ», некоторые журналы, все больше – Интернет). Исключение до некоторой степени составляли, с одной стороны, независимые коммерческие консультативные центры, а с другой – различные интеллектуальные фонды и клубы. Такие же традиционные формы, как университеты, академические и образовательные институты и университеты, «толстые» и академические журналы, в большинстве своем сохраняясь и продолжая выполнять свои прямые функции, утратили роль преимущественной среды обитания интеллектуальной элиты.
- «Ластясь», по выражению О.Мандельштама, «к авторитету», став преимущественно и некомпенсированно функциональной, а в этом своем качестве – лишенной достаточной автономии, интеллектуальная элита 90-х гг. выдвинула исключительно мало самостоятельных новых – или специально приспособленных к сегодняшним

отечественным условиям – политических, экономических и т. д. идей. Если воспользоваться терминами из области изобразительного искусства, ее горизонтом в эти годы был горизонт «лягушки», а не «птицы», что синонимично практическому отсутствию в интеллектуальной элите сложившегося рефлексивного компонента в указанном выше смысле. И дело здесь не только в неготовности профессионально размышлять на «большие» темы, но и в особом модусе дискурса, который сообщает референтная приобщенность к власти. Этот модус предполагает работу на ее технологическом, ориентированном на действие языке, с созданием в итоге некоего инструментального полуфабриката – такого «программного продукта», который совместим с «программой» (в компьютерном смысле) власти и теоретически может модифицировать эту программу, в идеале – совершенствуя. Владение таким дискурсом – признак профессионализма функциональной элиты, но это принципиально иной профессионализм, не тот который свойствен элите рефлексивной.

- Оставшись по сути столь же провинциально – замкнутой, как и в советский период, почти не имея с современной европейской и мировой культурой ни общего языка, ни общих тем, ни общих коммуникационных сетей<sup>71</sup>, интеллектуальная элита в 90-е гг. лишь утратила прививавшуюся ей псевдомарксистской культурой, с одной стороны, оппозиционностью этой культуре – с другой, иллюзию «столичности» и мировой значимости. В массе своей так и не начав писать и печататься в изданиях, имеющих мировую интеллектуальную аудиторию, российская элита по разным причинам стала, как представляется, меньше читать их, что едва ли компенсируется возникновением в последние десятилетия сравнительно обширного неподцензурного внутреннего рынка культуры и массового, но не системного проникновения на него – преимущественно в виде переводов – текстов разной значимости извне.
- Ведая или не ведая, что и во имя чего и кого творят, формации «нового типа», с которыми могла бы *референтно* соотноситься интеллигенция, чаще всего небескорыстно воздействовали на различные группы населения не столько силой убеждений, сколько убедительностью давно отработанных на Западе стандартных технологий, включая временами неуклюжее, временами – довольно тонкое, но всегда дорогостоящее использование средств массовой информации. Трудно сказать, полезен или только разрушителен этот опыт для сегодняшней России – только будущее покажет это – но, во всяком случае, такой образ элиты весьма далек от традиционного облика «властителей дум». Референтно сближаясь с элитой общества в смысле благосостояния, новые *гиперфункциональные* технологические элиты все больше утрачивали смысл в качестве референтных групп элиты интеллектуальной.

Сегодня все, кажется, понимают, что прежней интеллигенции, бывшей для России предметом гордости и проклятьем одновременно, более не существует. Не существует более и специфических проблем, связанных с ней. И крайне опрометчиво пытаться решать сегодняшние, совсем иные проблемы, заклиная призраки прошлого. Пока менее очевидно, что на глазах меняется и интеллектуальная элита в том виде, в каком она сложилась и существовала в 1990-х гг. Кризис проявился в форме исподволь возникшего когнитивного диссонанса между двумя сегментами интеллектуального сообщества – собственно аналитическим и аналитико-технологическим, рассуждающим не ради смысловой системы (всегда внутренне противоречивой, как противоречива сама жизнь и сама мысль – даже математическая), а ради смысловой системы власти, с ее императивом непротиворечивости, и как бы от имени последней – независимо даже от того, как она сама к тому относится. И дело здесь не в том, что новая политическая элита образца 2000 г. «отталкивает» от себя интеллигенцию, что последняя не оправдала возлагавшихся на нее надежд или что она на власть «обиделась». Просто в начале первого послереволюционного десятилетия в России происходит совершенно естественный процесс «развода» между функциональной и рефлексивной интеллектуальными элитами<sup>72</sup>.

У тех, кто создает технологии власти и, иногда, для власти, и у тех, кто «осмысливает смыслы» – разные роли, и это практика должна встраиваться в мир смыслов, попутно изменяя его, а не наоборот, иначе обесмысливаются не только практика, но и сами смыслы. Это не исключает постоянного диалога между первыми и вторыми, более того, даже предполагает такой диалог. Конечно, вестись он должен на более выверенном аналитическом языке, чем тот полуобыденный аргумент, который успело создать синкретическое интеллектуальное сообщество в последнее десятилетие. Его акме – грандиозное *мыселедействие* в «Александр – хаусе» в первые месяцы 2000 г., когда власть пыталась привлечь всех, кого только можно, и даже кого нельзя, то ли к выработке, то ли к оправданию выработки правительственной программы. Наследие методологического синкретизма 1990-х гг. еще долго будет ощущаться обеими частями интеллектуальной элиты. *«Гиперфункционализм»* со всеми его интеллектуальными и нравственными издержками – с одной стороны, *«недорефлексия»* – с другой: такова плата интеллектуальной элиты за этот синкретизм. Чем скорее обе от него избавятся, тем лучше.

Наверное, «развод» происходит поздно – многие годы отсутствие разницы потенциалов между двумя группами было одним из препятствий при попытках предложить общественно значимую стратегическую инициативу, цель которой – выработка действительно современной, выполненной не ниже мирового уровня, программы развития страны на длительное время. Наверное, все же, лучше поздно, чем никогда.

Надо учитывать и другое. Рефлексивная элита – самая гибкая из референтных групп интеллигенции, меняющая форму, подобно Протею,

формируется не сама по себе и не только в *малом треугольнике* с функциональной и политической элитами. По большому счету, ее форма возникает и обретает смысл (или теряет его) прежде всего в *треугольнике большом*, о котором речь шла в начале статьи: *власть – Церковь – светская культура*. И эти смысл и форма зависят не только от нее самой, но и от того, каковы две другие его вершины. В этом контексте ответственной власти, желающей избавиться от «головной боли», причиняемой синкретической интеллигенцией, совсем недостаточно отогнать «недорефлективную недоэлиту» от государственного аппарата и наглухо захлопнуть за ней кремлевские ворота. Поступая так, и только так, власть по сути, если не по форме, повторит опыт своей предшественницы: самодержавной монархии в 40-60-е гг. XIX в. Возможно, со всеми или некоторыми аналогичными последствиями, типичными не только для России, но и для многих самых разных стран в разное время. И когда эти последствия будут осознаны, может оказаться, что уже поздно не только менять «генетический код» интеллектуальной элиты, но и даже пытаться вешать «Станислава всем жокакам на шею». И использовать эти шеи по другому назначению может оказаться тоже поздно. Выброшенная в дверь, интеллигенция склонна в том или ином облике возвращаться в окно. В возвращении ее в самом привычном из возможных обликов – до боли знакомом и надоевшем – и будет заключаться в этом случае ирония истории, которая посмеется, как это не раз бывало, над теми, кто преждевременно хоронил интеллигенцию. Рефлективная элита никуда не денется, пока сохраняются базовые характеристики современной культуры и современной власти в их отношениях между собой и с религией, но она может быть конструктивной (с точки зрения государства) и разрушительной, «столичной» и «провинциальной», патриотичной (чему не мешает ее мировой уровень) и безразличной к интересам национальной власти. Кое-что – и не так мало – в том, какой она будет в предстоящие годы, зависит и от власти.

Но есть и еще одно важнейшее обстоятельство, о котором в этой статье бессмысленно говорить подробно, но и не сказать вообще ничего просто невозможно. Сегодня, получив шанс обрести автономию, рефлективная интеллектуальная элита России неизбежно столкнется с проблемой, куда более фундаментальной и старой, чем те, которые определяли ее *modus vivendi* и *modus operandi* не только в 1990-х гг., но и в последние восемьдесят с лишним лет<sup>73</sup>. В самом начале этой статьи мы говорили о том, что интеллигенция – это, условно, референтная группа людей, действующих на основе просвещенческой «нормы взрослости»: *sapere aude* («дерзай знать»). Но это общее замечание, относящееся именно к *референтной* группе (интеллигенция), а не к *социальной* (интеллектуальная элита), и к европейской интеллектуальной традиции вообще, а не непременно ко всем ее отдельным социокультурным субстратам.

Русская, российская традиция мысли – *нормативно* европейская, и никакой другой быть не может. Россия переболела основными темами

современной европейской философии (по крайней мере – политической) в своей культуре и, особенно, беллетристике, главным образом XIX, но также и XX вв. Этого, однако, нельзя сказать однозначно о нашей интеллектуальной элите, как преемственной общности. Переболеть – не обязательно значит получить иммунитет. И интеллектуальной элите вряд ли удалось сделать самое себя, формы своей мысли и формы своей деятельности, адекватными принципам, которым она присягнула и, по видимости, давно уже следует. И даже если российский *homo intellectualis* в течение 1990-х гг. перестал, наконец, быть «человеком эпохи Москвошвея», он не стал от этого автоматически интеллектуалом XXI в., как девяносто лет назад не был автоматически интеллектуалом века XX. Как выразился в полемическом запале, но, по сути, верно, один из интереснейших отечественных политологов, «мы все еще как бы люди «до спора номиналистов и реалистов»<sup>74</sup>. Добавим от себя: даже до Августина, но, при этом, мы – люди после логического позитивизма. Человек, даже появившийся на свет в Падуе, Париже или Кентербери – не номиналист или реалист от рождения, точно так же, как и тот, кому дано увидеть мир Божий в Москве или Тайшете. Номинализм, Ренессанс, Контрреформация, Просвещение, позитивизм, неотомизм и т. д. – во включающих взрослеющего человека отношениях и, отчасти, в окружающих его вещах. Они или присутствуют, или их нет, и личной волей, личным знанием, личным воспитанием их отсутствия не восполнишь. Особенно, если будешь относиться к ним, как к словам Святого Писания, каковыми они не являются.

Сегодня русский Богоборец хром на обе ноги. Но конец русской революции обнаружил не только это обстоятельство. Сейчас культура *не нуждается в оправдании*. Не в том смысле, что кому-то удалось метафизически оправдать ее, а в другом – она утратила потребность в том, чтобы ее кто-то оправдывал. Семь десятилетий большевизма, *пережитые* Россией, а не только осмысленные ее интеллектуальной элитой (кстати – пока толком и не осмысленные), возможно, изменили тело общества: то самое тело, которое живет ощущениями, соотносимыми с символами, по ап. Павлу, помнившему, что он – римский гражданин. Не исключено, что культура оправдалась в России не по-западному, а так, как только и могла здесь оправдаться – апофатически и онтологически. И если так, то именно поэтому, а не по чему-либо иному, устарело то в русской философии, что было связано с попытками оправдания гносеологического – то есть очень многое. Эта культура пережила коммунизм и существует сегодня независимо от апологий и инвектив – как бы к этому ни относиться. Язык в самом широком смысле (включая и достижения отечественной математической школы и многое другое) – та почва, которая существует помимо нашей воли. Почва, которая, конечно, могла бы достаться нам и в лучшем состоянии, но не досталась. Вместе с европейским «наследием» – это наша «античность»: фрагменты и развалины смыслов, которые нуждаются в обживании и потому – в переосмыслении – *перемене ума*. Но в чем-то ум уже незримо переменялся:

пережив годы, когда «страхи стали страшными», русская интеллигенция сегодня перестала по-манихейски искушать себя соблазном «исихазма»: спасительного пути, следования по которому *никогда в действительности не требовала от нее, как от сообщества. Церковь*. «Умное делание» – личный подвиг, а не путь цивилизации. И всякий грех – личный грех, а не грех культуры, совершаемый в процессе ее творения и списываемый на ее счет, после чего, конечно, она начинает нуждаться в оправдании. Благословен священнобезмолвствующий. И пусть просто помолчит тот, кто хочет – или кому лучше – помолчать.

Перед российской интеллектуальной элитой стоит сегодня задача, которую не просто даже решить сформулировать. Ей необходимо либо самоуничтожиться, то есть сделать то, чего от нее не удалось добиться даже большевикам<sup>75</sup>. Либо, чтобы соответствовать своим рационалистическим этосу и пафосу, наконец – *языку*; без которых ее просто не было бы (а она, несмотря ни на что – существует), ей необходимо критически пересмотреть – и пересмотреть логически строго, на уровне самых современных знаний<sup>76</sup> – в том числе математических и физических – едва ли не всю интеллектуальную традицию Европы, то есть сделать то, на что, по совокупности причин, о которых говорить здесь не место, не решается современная западная мысль. Эта задача сложнее, чем «встраивание» современного отечественного *ratio* в западный постмодерн, по *видимости* созвучный его состоянию. Приняв максимум «дерзать мыслить» не только как родовой девиз, но и как свой «генетический код», интеллектуальная элита должна понять, что сегодня эта максима, помимо общего, имеет и особый смысл: «дерзать мыслить ретроспективно», то есть верить современными знаниями *sub specie aeternitatis* самые глубокие основания собственного дискурса. А эти основания глубже не только постмодернизма, но и русской философии XIX – XX вв. – как светской, так и религиозной. В конце концов, в диахронической, а не только синхронической критике нет ничего провинциального или вообще несвойственного философии, как раз наоборот. Спорил же, к примеру, Аквинат с Аристотелем в *Summa theologiae* и Аверроэсом в *Summa contra gentiles*. Европейская мысль – наш Стагирит и наш Ибн-Рошд. Да и постмодерн, родившийся, видимо, из той же потребности справиться с молчаливыми претензиями и укорами диахроники – живой, но цензурированный массовой философской культурой, – здесь, скорее, союзник, чем противник... Конечно, решение такой задачи – не на один президентский срок (поскольку такая квантификация времени сменила советские пятилетки) и не на два. Вероятно, если ее вообще удастся решить (а этого, конечно, никто не может гарантировать), речь пойдет о поколениях, по крайней мере – интеллектуальных и политических. Но когда-то надо начинать, тем более, что так сформулированная задача аналогична задаче модернизации вне парадигмы безнадежного догоняющего развития.

Без правильно поставленной задачи – *сознательного* выковывания современного рационального дискурса не только как *личного*

*интеллектуального оружия кавалера «ордена европейской культуры», а как системы вооружений отечественной интеллектуальной элиты, воспринимающей себя, и воспринимаемой другими, в качестве органической части элиты мировой – наша элита будет оставаться провинциальной, потому что она – из другой эпохи и другого мира, а не того, в котором ей хочется жить, и она полагает что живет, лишь в глубине души догадываясь, что ошиблась хронотопом. В этом смысле советы в адрес нашей интеллигенции поскорее провалиться сквозь землю в качестве особой, как теперь многие благоволят выражаться, *тусовки*, и начать жить скромно и с достоинством, как *интеллектуалы*, совершенно не отражают сути дела, поскольку касаются внешних проявлений, симптомов болезни – без всякой связи с анамнезом, диагнозом и прогнозом.*

Конечно, сегодня практически уместнее и проще говорить не о том, какими предзаданными качествами должна обладать интеллектуальная элита России, и какими – не должна, а о том, как она должна быть организована. Организации и институты сами по себе никого не спасают и ничего не творят – «Дух дышит, где хочет», но при разумном устройении и постоянном совершенствовании являются некоторым препятствием на пути общественного и интеллектуального хаоса. Такая постановка вопроса в применении к элите политической позволила в свое время в мировой теории и практике отказаться от выбора между обычно бесплодными и иногда опасными «качественными» претензиями к власти и абстрактной концепцией разделения властей в пользу более операциональных и технологичных схем, позволяющих минимизировать риск, связанный с ее деятельностью в условиях и по осознанным правилам открытого общества. В конечном счете, система сдержек и противовесов, различные так называемые консоциальные механизмы, общепризнанные традиции властвования и т. д., и т. п. – все это складывается в первую очередь именно как формы самоорганизации политической элиты в её взаимоотношениях с основными государственными институтами и обществом, имеющим определенный конфессиональный, этнический и социальный состав.

Самоорганизация интеллектуальной элиты, так же, как и политической, представляет собой особую задачу, которая в каждой крупной и культурной стране решается более или менее своеобразно. И притом не столько прямолинейно, путем раздражающего и довольно бесплодного вмешательства в жизнь уже существующей элиты, сколько косвенно – через организацию основных структур образования, научных дисциплин, системы финансирования исследований в передовых областях, замены практики «научного туризма» продуманной системой научных стажировок за рубежом и т. д. Но верно и обратное утверждение: реформы образования, поддержка тех или иных наук и т. д. важны не сами по себе и не в отрыве друг от друга, а лишь в той мере, в какой они все вместе обеспечивают жизнеспособность общества в перспективе и, в частности – воспроизводство интеллектуального сообщества, способного

осознанно обеспечивать культурный потенциал связи между видениями прошлого и будущего, между страной и внешним миром, между различными группами общества. Интеллектуальная элита должна формироваться как таковая, а не рассматриваться только как побочный и, может быть, случайный результат фундаментальных структурных перемен, касающихся общества в целом.

Так понятую задачу создания и поддержки интеллектуальной элиты страны сегодня в России должно хотя бы отчасти решать государство, со всем же остальным в области культуры интеллектуальная элита может и должна справиться сама.

**Отказ от ответственности перед Богом за сказанное слово не восполняется ни ответственностью интеллигенции перед государством или народом, ни ее безответственностью перед ними.**

#### Примечания

<sup>1</sup> «В поисках утраченного смысла» (фр.).

<sup>2</sup> У данной работы есть более ранние версии, первая из которых была опубликована в журнале «Полития» в № 1 за 1997 год. Публикуемый вариант существенно переработан автором и, судя по отметке на титульном листе, предназначался им для книги (Прим. ред.).

<sup>3</sup> А. Мигранян. Звездаисмерть российской интеллигенции. Можно ли преодолеть либеральную интеллигенцию, не восстанавливая тотальности государства? «Независимая газета», 21.12.2000; В. Шохина. Президент и интеллигенция. Роман в трех частях с прологом, но без эпилога. «Независимая газета», 06.01.2001; В один и тот же день (!) появились две по-своему программные публикации: В. Третьяков. Власть, общество и интеллигенция в современной России. «Независимая газета», 17.01.2001; Г. Павловский. «Век XX и мир»: урановый могильник российской интеллигенции. «Русский Журнал» /политика/. [www.russ.ru/politics/20010116\\_gvarl.html](http://www.russ.ru/politics/20010116_gvarl.html); Г. Павловский. Гефтер, власть и слепые люди. К годовщине смерти М.Я. Гсфтсра. Тезисы выступления в Сахаровском центре 15.02.2000. «Русский Журнал» / Политика/События [www.russ.ru/politics/events/20010215gp.html](http://www.russ.ru/politics/events/20010215gp.html).

<sup>4</sup> В конце концов, *homo intellectualis* и *homo intellectivus* – синонимы, различающиеся соотношением, соответственно, со светской и церковной традициями.

<sup>5</sup> В России некоторые критики «интеллигенции» полагают, что само это понятие чисто русское, не имеющее аналогов в других странах, и им в этом вторят некоторые зарубежные исследователи и, особенно, публицисты. Соответственно, перспектива российской интеллигенции, по-разному оцениваемая, видится в ее уподоблении западным «интеллектуалам». Разумеется, в качестве субстрата референтной группы русская «интеллигенция» своеобразна, как своеобразна любая соответствующая группа в любой стране. Точно так же и властная организация любого общества, с которой неким скрытым от глаз образом соотносится интеллигенция, отличается уникальными особенностями. Однако в качестве идеальной, символической референтной группы, по-своему противостоящей как Церкви (в реальной жизни в каждом обществе ей соответствуют свои формы организации религиозной жизни), так и власти (политической организации данного общества) интеллигенция играет в разных обществах очень похожие роли, как бы ее не называли: «интеллектуалами», «философами», «учеными» и т. д. Особенно заметно это в инвективах направленных против интеллигенции. Когда Жозеф де Местр говорит, что «философы», «ученые» – «философическая секта», «которая является

смертельным врагом Церкви и Государства» (Ж. де Местр. Рассуждения о Франции. М., РОССПЭН, 1997. С. 20), это вовсе не звучит так уж несовременно и так уж не по-русски, и уж во всяком случае, созвучно пафосу авторов «Вех». Что касается «интеллектуалов» в англосаксонском смысле, то отсылаем читателя к классическому исследованию Ричарда Хофстадтера (R. Hofstadter. *Anti – Intellectualism in American Life*. N.Y., 1963). Из него можно почерпнуть немало примеров паразитического сходства американских интеллектуалов и русских интеллигентов в глазах их критиков. В целом можно согласиться с мнением А.А.Галкина, утверждающего в своей превосходной статье об интеллигенции «И в иных государствах, прежде всего, в Западной и Центральной Европе, тоже существовали группы образованных людей, движимых нравственными побуждениями, которые выполняли аналогичные функции. То, что они не именовали себя при этом интеллигентами и не воспринимались обществом как нечто цельное, не имело существенного значения. Очевидно, что без их воздействия история соответствующих стран выглядела бы менее интересной и поучительной» (А.Галкин. Крестный путь интеллигенции. «Власть», 1998, № 4. С. 55 ). С учетом всего сказанного, и чаемое превращение российских интеллигентов в интеллектуалов, якобы знающих свое место, даже если оно вообще возможно, в лучшем случае приведет к изменению субстрата референтной группы, к коррекции ее образа, но уж никак не к ее исчезновению именно в том качестве, которое так не нравится критикам.

<sup>6</sup> О русской интеллигенции см.: А.Николаев. *Интеллигенция и народ*. М., 1906; Е.Лозинский. *Что же такое, наконец, интеллигенция*. СПб., 1907; Вехи. Сборник статей о русской интеллигенции» М, 1909; К.Арсеньев, Н.Гредескул, М.Ковалевский (ред.). *Интеллигенция в России*. СПб., 1910; Ива нов-Разум ник. *Что такое интеллигенция?* Берлин, 1920; *Из глубины*. М.-Пг., 1918; А.Луначарский. *Интеллигенция в ее прошлом, настоящем и будущем*. М., 1924; А.Луначарский. *Об интеллигенции* (сборник статей). М., 1923; Д.Мирский. *Интеллиженция*. М., 1934; А.Литинский. *Об интеллигенции. Краткий указатель литературы*. М., 1939; М.Malia. *What is the Intelligentsia*. «Daedalus», 1960; В. Elkin. *The Russian Intelligentsia on the Eve of the Revolution*. «Daedalus», 1960; R.Pipes. *The Historical Evolution of the Russian Intelligentsia*. «Daedalus», 1960; L.Labedz. *The Structure of the Soviet Intelligentsia*. «Daedalus», 1960; L.G.Churchward. *The Soviet Intelligentsia. An Essay on the Social Structure & Roles of Soviet Intellectuals during the 60-s*. L.-Boston, 1973.

<sup>7</sup> Претерпев различные метаморфозы, обвинения, как правило, сводятся к «безответственности» интеллигентов (перед церковью, государством, обществом, нацией, передовым классом, правящей партией). Эта «безответственность» (вариант - «безродность»), между тем, точно такого же рода, что и «алчность» капиталистов, «коллективный эгоизм» рабочих, «скопидомство» крестьян, «твердолобость» военных, «бездущие» чиновников и т. д. Иными словами, в каждом из этих случаев в вину людям, составляющим некую касту, символическую корпорацию или идеальнотипический класс, ставится то, что является иронически переосмысленной «сутью» этой «касты» (в данном случае - в обиходном значении, а не в смысле индийских варн и джати): идеальное «нелицеприятие» служащих, отречение военных от свободы ради эффективной в бою дисциплины и т. д.

<sup>8</sup> Внеинтеллектуальность самого антиинтеллектуализма заметна уже в архетипическом казусе де Местра. Он вновь и вновь обращается к обличению «философов», хотя в его концепции они - как, впрочем, и светские власти - всего лишь ничтожные орудия Провидения, не заслуживающие особого внимания.

<sup>9</sup> Эта методика впервые, насколько нам известно, использована в работе: С.Kadushin. *The American Intellectual Elite*, Boston - Toronto, Little Brown & Co., 1974.

<sup>10</sup> Так, специальные опросы «элитарных» экспертов, проводимые с 1 января 1993 по сей день организацией Vox Populi в Москве, в целом выявляют лишь поразительную коллективную неосведомленность тех, кого социологи склонны в каждом конкретном случае считать «ведущими экспертами» в том, что касается реального влияния конкретных политиков и общественных деятелей

на принятие политических решений. Уникальный в своём роде ежемесячный опрос группы «экспертов», насчитывающей несколько десятков человек (их численность меняется от опроса к опросу: группа экспертов для каждого опроса – около 70 человек. Результаты опросов ежемесячно публикуются в «Независимой газете»), предполагает выявление ста наиболее влиятельных политиков и ста ведущих предпринимателей России с ранжированием их «влиятельности». Кратко суммируя результаты этого неоднократно критиковавшегося в прессе опроса, можно отметить, что «коллективный эксперт» систематически демонстрирует заведомое знание множества имён (видимо – результат чтения прессы и просмотров программ ТВ) в сочетании с крайне приблизительным знакомством с действительными механизмами политики.

Не менее уязвим для критики и другой периодический опрос, проводившийся службой VP-T с зимы по осень 2000 г., когда «экспертов» просили оценить авторитетность «экспертов» же. До декабрьского опроса 2000 г., данные которого были опубликованы в январе 2001 г., было вообще не очень понятно, по какому критерию определяется «авторитетность», и кто, собственно, такие – «эксперты». Методика была усовершенствована, и экспертов стали спрашивать о том, кто из их коллег за прошедший сезон создавал наиболее запоминающиеся информационные поводы. Очевидно, смена угла зрения отражает позицию редакции «НГ»: «Вообще в последнее время кажется, что интеллигент это тот, кого показывают, дав соответствующие титры, телеканалы» (В.Третьяков. Власть, общество и интеллигенция в современной России. «Независимая газета», 17.01.2001, с. 8). В такой постановке вопроса больше социологической корректности, однако надо отдавать себе отчет в том, что выявляет он в лучшем случае лишь шкалу предпочтений «экспертной публицистики», но не собственно экспертную и уж тем более не интеллектуальную элиту. Достаточно сказать, что в списке 100 известнейших «экспертов» не оказалось, например, А.Солженицына. Видимо, он не создавал в указанный период публичных «информационных поводов». Зато в нем оказались некоторые из тех, кто также не создавая таких поводов в это же время, но, видимо, чьи высказывания известны «экспертам» в результате личного общения и т. д. Опрашиваемым, по сути, задают вопрос: «На кого из вашей компании вы больше всего обратили внимание прошлой осенью (зимой и т. д.)?». Оценка экспертами политиков напоминает известный анекдот о пассажирах заблудившегося воздушного шара, которые на вопрос: «Где мы находимся?», получают вполне корректный ответ: «На воздушном шаре!»... Оценка экспертами самих экспертов – по аналогии – ситуацию, когда безнадежно заблудившиеся воздухоплаватели определяли бы верное направление с помощью голосования. Пожалуй, любопытно было бы сравнить данные таких опросов с данными контент-анализа СМИ и специальных изданий, где являют себя просвещенной публике эксперты, однако такое сопоставление возможно, пожалуй, создавать не менее щекотливые ситуации, чем попытка сравнить реальные доходы физического или юридического лица с декларируемыми. Разумеется, цель этих замечаний состоит совсем не в том, чтобы поставить под сомнение заинтересованность экспертных опросов такого рода (не менее, хотя и не более занятными быт бы аналогичные опросы среди литераторов, журналистов, критиков и др. представителей творческих профессий), а в том, чтобы показать исключительную сложность, если не невозможность, эмпирического выявления интеллектуальной элит с помощью простых технологий, использующих «экспертную самооценку». В этом случае мы имеем дело, похоже, с социологическим аналогом второй теоремы Гёделя о невозможности доказать непротиворечивость формальной системы средствами самой системы (см.: Клини С.К. Введение в математику. Пер. с англ., М., 1957).

<sup>11</sup> «Существуют мысли правильные, мысли неправильные и мысли, подлежащие искоренению», как говорил, имея в виду «асфальтовых грамотеев», д-р философии Гёдельберского университета Иозеф Геббельс.

<sup>12</sup> Если не быть осторожным, можно зайти в тупик, о котором говорит один из исследователей интеллигенции: «Структурно-функциональная версия автобиографии интеллигенции оказалась попыткой доказать обществу, что есть целый набор социальных функций, осуществлением которых занимается именно интеллигенция. Сложнее доказать обществу другое: во-первых, что

эти «функции» необходимы (или полезны) обществу, и во-вторых, что никто другой, кроме интеллигенции, не способен с ними справиться» (С.Аушикин. Функциональная интеллигентность. «Полис». 1998. Л% 1. С. 21).

<sup>13</sup> Bergson H. Les deux sources de la morale et de la religion. P., 1942. P. 229.

<sup>14</sup> Подробнее см: Сапмин А. Французская интеллигенция и феномен «альтернативного сознания». В кн.: Рабочий класс в мировом революционном процессе. - М: Наука, 1985. С. 237.

<sup>15</sup> Так, в «Основах социальной концепции Русской Православной Церкви», принятых Архиерейским Собором Русской Православной Церкви в 2000 г., об отношении Церкви к культуре говорится: «Признавая за каждым человеком право на нравственную оценку явлений культуры. Церковь оставляет такое право и за собой. Более того, она видит в этом свою прямую обязанность. Не настаивая на том, чтобы церковная система оценок была единственно принятой в светском обществе и государстве. Церковь, однако, убеждена в конечной истинности и спасительности пути, открытого ей в Евангелии. Если творчество способствует нравственному и духовному преобразению личности, Церковь благословляет его. Если же культура противопоставляет себя Богу, становится антирелигиозной или античеловечной, превращается в антикультуру, то Церковь противопоставит ей. Однако подобное противостояние не является борьбой с носителями этой культуры, ибо «наша брань не против плоти и крови», но брань духовная, направленная на освобождение людей от пагубного воздействия на их души темных сил. «духов злобы поднебесных» (Еф. 6. 12).» («Информационный бюллетень ОВЦ Московского Патриархата», 2000. № 8. С. 20-21). А так характеризуются отношения Церкви и государства: «Церковь сохраняет лояльность государству, но выше требования лояльности стоит Божественная заповедь: совершить дело спасения людей в любых условиях и при любых обстоятельствах... Утверждение юридического принципа свободы совести свидетельствует об утрате обществом религиозных целей и ценностей, о массовой апостасии и фактической индифферентности к делу Церкви и к победе над грехом. Но этот принцип оказывается одним из средств существования Церкви в безрелигиозном мире, позволяющим ей иметь легальный статус в секулярном государстве и независимость от инаковерующих или неверующих слоев общества» (там же с. 92).

<sup>16</sup> Л. Шестов. Апофеоз беспочвенности Опыт адогматического мышления. СПб., 1911. С. 215.

<sup>17</sup> «Интеллигенция родилась в России как аристократия духа. Такой она оставаясь и в советской России, где аристократии крови и собственности были ликвидированы, но зато остались более и менее свободные сословия (классы), то есть и место для аристократии духа. А теперь – свобода и демократия для всех. Для аристократии, для «лучших людей» то есть, места не осталось.» (В. Третьяков. Власть, общество и интеллигенция в современной России. («Независимая газета». 17.01.2001, с. 8).

<sup>18</sup> Развивая тезисы цитированной статьи об интеллигенции («НГ», 17.01.2001) , известный публицист М. Буянов констатировал в своем письме в газету, что «интеллектуальная шпана», подобная Есенину, Высоцкому, Венедикту Ерофееву или Александру Сергеевичу Пушкину – талантливые люди, но не лучшие, что не одно и то же («Независимая газета», 27.01.2001). Возражая М. Буянову У.Карликов и С.Плукарин, предположившие, что не только обсуждение статьи в «НГ», но и она сама – забавная мистификация, назвали перечисленных выше литераторов, наряду с носителями других громких имен, «лучшими, на свой манер» людьми, «у большинства из которых, однако, не было дара безответного самодостаточного служения, впитываемого с молоком матери или кормилицы, а также прививаемого если не школой, то нравственно-ответственной независимой прессой» («Северный альманах», 1.02.2001) . Прочитав и единственный известный нам зарубежный отклик принадлежащий Нельсону Норвуду: «Неожиданная полюмика по поводу несколько набишей оскомину русской intelligentsia в московской «Независимой газете» – рупоре Бориса Березовского, пользующемся непропорциональным влиянием на здеешнюю эмбриональную политико-интеллектуальную элиту - может означать лишь то, что этот небесспорный персонаж мрачноватой

<sup>19</sup> См. *Eliten im Wandel: politische Führung. Wirtschaftliche Macht und Meinungsbildung im neuen Osteuropa*. М.А.Натсчикян, Ф.-Л.Алتمانн (Hrsg.). Paderborn, München; Wien; Zürich: Schöningh, 1998.

<sup>20</sup> Подробнее см.: *Партийная система в России в 1989-1993 годах: опыт становления / Салмин А.М. (рук. авторского коллектива), Бунин И.М., Капелюшников Р.И., Урнов М.Ю. Фонд «Центр политических технологий – Фонд Конрада Аденауэра. – М.: Начала-Пресс, 1994, 85 с.*

<sup>21</sup> Головачев Б.В., Косова Л.Б., Хахулина Л. А. *Формирование правящей элиты в России. ВЦИОМ. Информационный бюллетень мониторинга*. 1995, № 6 (20). С. 21.

<sup>22</sup> Там же. С. 21.

<sup>23</sup> Аскольдов С.А. *Религиозный смысл русской революции. Из глубины. М.-Пг., 1918. С. 23-24.*

<sup>24</sup> Пушкин А.С. *Письма последних лет. 1834-1837. Л., 1969. С. 198.*

<sup>25</sup> Гершензон М. О. *Творческое самосознание. Вехи. Сборник статей о русской интеллигенции 1909. С. 92.*

<sup>26</sup> Пушкин А.С. *Письма последних лет. 1834-1837. Л., 1969. С. 198-199.*

<sup>27</sup> Там же. С. 199.

<sup>28</sup> Любопытное совпадение: черновик письма П.Я. Чаадаеву и рукопись «Капитанской дочки», в пропущенной главе которой и находится знаменитая фраза про «русский бунт», датированы одним и тем же числом: 19 октября 1836 г.

<sup>29</sup> Пушкин А.С. *Полное собрание сочинений. В одном томе. М., 1949. С. 825.*

<sup>30</sup> Тот же Кюстин еще в 1843 г. был уверен, что этот элемент начнет грядущую революцию в России. (А. де Кюстин. *Николаевская Россия. М., 1990. С. 156.*)

<sup>31</sup> Едва ли не единственный из отечественных авторов, кто указал на неправомерность противопоставления интеллигенции народу в начале века – Д. Галковский; «Булаков в пылу полемического задора писал: «Народ наш, скажу это не обинуясь, при всей своей неграмотности, просвещеннее своей интеллигенции». При этом он не обратил внимания, что речь идет о «СВОЕЙ» интеллигенции, что интеллигенция-то, в отличие от интеллектуальной элиты, и связана с народом еще достаточно крепко и органично» (Д.Галковский. *Русская политика и русская философия.*)

<sup>32</sup> Подробнее см.: А.Салмин. *Современная демократия. Очерки становления. М., 1997.*

<sup>33</sup> Флоровский Г. *Пути русского богословия. Париж. 1988.*

<sup>34</sup> Кузнецов П. *Метафизический Нарцисс и русское молчание. П.Я. Чаадаев и судьба философии в России. В кн.: П.Я. Чаадаев: Pro et Contra: Личность и творчество Петра Чаадаева в оценке русских мыслителей и исследователей. Антология, СПб., 1998. С. 740.*

<sup>35</sup> Еще неизвестно, кстати, сказать, как был бы принят прямой запрет, если бы он последовал. Отлучением от Церкви гр. Л. Н. Толстого более всех были удручены и возмущены люди внецерковные, которым, казалось бы, до этого вовсе нет дела. Вспомним и другого гр. Толстого – Алексея Константиновича. В его знаменитом стихотворении «дарвинизм» становится жертвой отнюдь

не кого-то из иерархов, и не Свящ. Синода, а председателя комитета по печати, которому (а не дарвинистам) ироничный автор и грозит Соловками.

<sup>36</sup> Но это означало бы, в частности, как свидетельствует тысячелетний опыт Запада, и начало систематической борьбы со светской культурой – наступательной, оборонительной, позиционной.

<sup>37</sup> Чрезвычайно поучителен предельный в известном смысле, опыт К. Н. Леонтьева, который был «болен» проблемой оправдания творчества и испытал на прочность, кажется, едва ли не все возможные его апологии, начиная с попытки доказать изоморфизм творчества, с «встроенным» в него злом и веры: «И поэзия земной жизни, и условия загробного спасения – одинаково требуют не сплошной какой-то любви, которая и невозможна, и не постоянной злобы, а, говоря объективно, некоего как бы гармонического, в виду высших целей, сопряжения вражды с любовью» (Леонтьев КН. Собрание сочинений. М., 1912. Т. 8. С. 186). Затем творчество оправдывается возможностью обращения его плодов на пользу спасения благодаря интенции автора или/и Божьему Промыслу. Так выглядит в передаче Леонтьева его беседа с И.С. Аксаковым, после того как последний прочел в рукописи «Византизм и славянство»: «...Потом, – продолжал Иван Сергеевич, – вы совершенно уничтожаете влияние лица, вы забываете свободную, личную деятельность человека... У вас ваш процесс развития и вторичного упрощения есть процесс фаталистический, деспотически неизбежный... Поэтому о чем же хлопотать? Зачем писать... – Вы – Иеремия, плачущий над развалинами... – А разве Иеремия не писал? – спросил я. Аксаков никак видимо не ожидал этого соображения и замолчал вдруг, он забыл, что Иеремия писал» (Моя литературная судьба. Автобиография Константина Леонтьева. Литературное наследство, т. 22/24, М., 1935. С. 456). Наконец, когда доходит до того, что Леонтьев объявляет о намерении прекратить писать, его духовный отец, оптинский старец Аверосий, берет с него слово, что он начнет работу над новым романом и Леонтьев в точности держит данное слово: начинает роман «Последний луч», который так и остается незавершенным (Александров А. Памяти КН. Леонтьева, Сергиев Посад, 1999. С. 75). При этом он продолжает работать в других жанрах. Иными словами, ни апология творчества, ни отказом него Леонтьеву не удаются.

<sup>39</sup> «Поэзия на самом деле есть абсолютно-реальное» (Новалис. Фрагменты. В кн.: Литературная теория немецкого романтизма. Л., 1934. С. 121). Европейский романтизм страдал не столько от эфемерности бытия, сколько от чрезмерной плотности быта.

<sup>39</sup> Буквально – «тоска» или «скука», но, как пишет Рильке (по-русски): «Немец вовсе не тоскует, и его вовсе не то, а совсем другое сентиментальное состояние души, из которого не выйдет ничего хорошего. Но из «тоски» народились величайшие художники, богатыри и чудотворцы русской земли.» (Письмо АН. Бенуа 28 июля 1901 г. В кн.: Р.М. Рильке, Ворпсведе, Огюст Роден, Письма, Стихи). М., 1971. С. 175).

<sup>40</sup> Собственно, первоначальное, быстро – и не случайно быстро – забытое, значение слова «интеллигенция» (в словосочетании «интеллигенция общества») и означало культурную часть общества без сколько-либо определенных границ, а не сословие.

<sup>41</sup> См.: В.В. Иванов. Волк. Кн.: Мифы народов мира. Т. 1. С. 242.

<sup>42</sup> Напоминаем, речь здесь идет, конечно, только о рациональной легитимации, а не о действительной функции или сфере распространения просветительской философии.

<sup>43</sup> «Поддержку» со стороны церкви, которой удается заручиться и наполеоновскому, и большевистскому режимам, выносим за скобки, поскольку способы ее получения в обоих случаях, при всех различиях, действительно сходны.

<sup>44</sup> Б. В. Дубин. Слово – письмо – литература. Очерки по социологии современной культуры. М., 2001. С. 331.

<sup>46</sup> Эта установка властвующей элиты исчезла немедленно после краха режима. По данным исследования Б. В. Дубина «Максимум позиционных преимуществ в сравнении с предыдущим поколением россияни (поколением тех, кто находится сегодня в поре социальной и профессиональной зрелости) из всех социально-демографических групп извлекла только одна, и это... руководители. Они, согласно их собственным оценкам, заметно выше своих родителей по статусу, образованию, положению в обществе, доходам, образу жизни и досуга и т. д. По майским данным 1995-го, 48% руководителей (вдвое больше, чем специалистов, и втрое больше среднего показателя по стране) бывали за рубежом (Б. В. Дубин. Слово – письмо – литература. Очерки по социологии современной культуры. М., 2001. С. 192).

<sup>47</sup> «День», 1993, № 6.

<sup>48</sup> Иванов Г. Мемуары и рассказы. М., 1992. С. 190-191.

<sup>49</sup> В нашу задачу сейчас не входит обсуждение вопроса, применим ли этот термин, относившийся первоначально к специфическим диктатурам в Италии и Германии, к ситуации в России. Для нас достаточно констатации того, что после 1922 года в России автономная от государственного вмешательства интеллектуальная жизнь быстро прекратилась – пусть это называют «тоталитаризмом».

<sup>50</sup> При всей грандиозности конструкции советской интеллигенции, трудно согласиться с утверждением, что в Советском Союзе она «была канонизирована, обожествлялась ничуть не меньше Ленина» (В.Третьяков. Власть, общество и интеллигенция в современной России. «Независимая газета», 17.01.2001. С. 8). Всячески привечались режимом «деятели науки и культуры», добившиеся реальных и мнимых (ботаник Лысенко и прочие «офицеры» того же легиона успехов и активно демонстрировавшие свою преданность «идеалам... и лично товарищу...», но об интеллигенции, как таковой, даже напечатать что-то более или менее серьезное было решительно невозможно. Что касается «канонизации», то в индексе знаменитой («либеральной») «Философской энциклопедии» (выходила в 1960-1970 гг.) Ленин упоминается примерно 550 раз, Маркс и Энгельс – примерно по 450-500, человек – примерно 100, Бог – около 80 раз (примерно столько же, сколько Фейербах, но меньше, чем Кант), интеллигенция – 27 раз. Повторяем, времена были по-советски либеральные 64 раза, а Сталин – только 5 раз. (Философская энциклопедия. В 5 тт., т. 5., 1970. С. 628-740).

<sup>51</sup> Подробнее категории «рационального мифа» см.: Салмин А. Современная демократия. Очерки становления. М., 1997.

<sup>52</sup> «Независимая газета», 30.01.1992.

<sup>53</sup> Гершензон М. Творческое самосознание. Вехи. Сборник статей о русской интеллигенции. М.: 1909. С. 92.

<sup>54</sup> Мамардашвили М. Необходимость себя. Введение в философию. Доклады, статьи, философские заметки. М., 1996. С. 209.

<sup>55</sup> Гудков Л., Дубин Б. Интеллигенция. Заметки о литературно-политических иллюзиях. М.-Харьков, 1995. С. 167-168.

<sup>56</sup> Там же. С. 170.

<sup>57</sup> Там же.

<sup>58</sup> Особенно велика здесь, по признанию многих, роль так называемого «пражского гнезда» – издававшегося в Праге журнала «Проблемы мира и социализма» (См. напр.: С.Земляной. Фантомное тело президента. Сергей Ястржембский в свете политической антропологии. «Независимая газета», 28.02.1998). Ирония истории заключается в том, что первое и последнее поколения

интеллектуальной - без всякой иронии - элиты «русского коммунизма» формировались за границей или в тесной связи с русской коммунистической границей, являя собой экзогенное явление для «внутренних» политических элит.

<sup>59</sup> Бунин И. М. и др. Номенклатура и демократия: борьба элит. «XX век и мир», 1991, № 5-6.

<sup>60</sup> Горбачев М.С. Годы трудных решений. Избранное, 1985-1992 гг. – М.: Б. и., 1993. С. 259.

<sup>61</sup> «Вечерняя Казань», 1989. № 27.

<sup>62</sup> Шкаратан О.И., Фигантер Ю.Ю. Старые и новые хозяева России. «Мир России», 1992, № 1. С. 78-79.

<sup>63</sup> Земляной С.Н., Кузьминов В.А. (Ред.) Утечка умов в условиях современной России: Внутренние и международные аспекты. ЮНЕСКО. Европейское Региональное Бюро по Науке и Технике, 1992, 257 с.

<sup>64</sup> В ходе исследования его авторами было проведено 1812 интервью с представителями советской номенклатуры, а также с представителями новой российской элиты, занимавшими в 1993 году должности, сопоставимые с номенклатурными. К представителям «культурных элит» были отнесены работники средств массовой информации, культуры, науки, образования (в 1988 году – должности номенклатуры ЦК КПСС, академики и член-корреспонденты АН СССР, а в 1993 году – академики РАН, главные редакторы и члены редколлегии общенациональных газет, директора крупных НИИ). См.: Головачев Б.В., Косова Л.Б., Хахулина Л.А. Формирование правящей элиты в России. ВЦИОМ. Информационный бюллетень мониторинга. 1995, № 6 (20), с. 18-24; 1996, АБ 1 (21), с. 32-38.

<sup>65</sup> «Независимая газета», 9.06.1999.

<sup>66</sup> Не случайно, видимо, когда, начиная с 2000 г., отношения между властью и интеллектуальной элитой вновь стали меняться, именно «НГ» и именно в лице своего главного редактора, обрушилась на интеллигенцию с очередной классической инвективой, предназначенной, как и все инвективы такого рода, не столько для «окончательного решения проблемы», сколько для указания на появление какого-то нового ее аспекта.

<sup>67</sup> Головачев Б.В., Косова Л.Б., Хахулина Л.А. Формирование правящей элиты в России. ВЦИОМ. Информационный бюллетень мониторинга. 1995, № 6 (20). С. 36.

<sup>68</sup> Партийная система в России в 1989-1993 годах: опыт становления / Салмин А.М. (рук. авторского коллектива), Бунин И.М., Капелюшников Р.И., Урнов М.Ю. Фонд «Центр политических технологий – Фонд Конрада Аденауэра. – М.: Начала-Пресс, 1994, с. 10; Головачев Б.В., Косова Л.Б., Хахулина Л.А. Формирование правящей элиты в России. ВЦИОМ. Информационный бюллетень мониторинга. 1996, № 1 (21), с. 20.

<sup>69</sup> Партийная система в России в 1989-1993 годах: опыт становления / Салмин А.М. (рук. авторского коллектива), Бунин И.М., Капелюшников Р.И., Урнов М.Ю. Фонд «Центр политических технологий – Фонд Конрада Аденауэра. – М.: Начала-Пресс, 1994. С. 10.

<sup>70</sup> Лысенко В. Похожа ли Шестая Дума на Пятую, а Селезнев на Рыбкина? – «Независимая газета», 1996, № 239.

<sup>71</sup> Разумеется, всегда можно найти индивидуальные исключения, но это именно исключения. Российские интеллектуалы, составляющие часть мировой интеллектуальной сети, «подключены» к ней персонально и, с точки зрения российской элиты, несистемно, в лучшем случае существую одновременно в двух несовпадающих контекстах: мировом и отечественном.

<sup>72</sup> Симптомом именно этого явления, а не «тотального» краха интеллигенции и стали, очевидно, недавние «антиинтеллигентские» публикации В.Третьякова, Г. Павловского и др.

<sup>73</sup> И хорошо, если столкнется. Хуже – если не заметит.

<sup>74</sup> Ю.Пивоваров. Русская власть и исторические типы ееосмысления. «Полития», Зима 2000-2001, № 4. С. 32.

<sup>75</sup> К этому, по сути дела, призвал в свое время Д.Галковский.

<sup>76</sup> Мало обращают внимания на то, что «критика буржуазной философии», которой промышляла советская интеллектуальная элита все семь десятилетий коммунизма, лишь отчасти, скорее по форме, чем по сути, была «вынужденным признанием», добытым в результате применения устрашения своего, в каждом случае, порядка. Эта «критика» была не эпифеноменом, а самой сутью мыслительной деятельности рационалистической элиты, развивающей, а не отрицающей дореволюционную традицию. Другое дело, что переосмысление западной интеллектуальной традиции не вело к ее осмыслению и освоению переосмысленного по правилам рационального же, а не псевдорационального дискурса. «Средоточие смыслов» было занято магическим марксизмом-ленинизмом (не случайно пародийное – «базизм-ягизм»), что исключало появление значимых рациональных выводов из рациональной – иногда – критики.